

---

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

## ОНИ ВОСПЕВАЛИ СТАЛИНА

(Лион Фейхтвангер и другие)

Западные люди умны, лукавы, двуличны и беспринципны.

Об этом я думал, рассматривая в книжном магазине № 100, что напротив московской мэрии, недавно изданную на русском языке американскую книгу о Мао Цзэдуне. Разоблачительную, конечно. Уже из одних названий глав недвусмысленно следовало, что политическая биография Мао выдумана самим Мао, особенно Великий поход китайской Красной Армии 1935–1936 годов, который он “якобы” возглавлял. Всё это было верхом бесстыдства, потому что в то время никому не известного на Западе Мао “пиарили” именно американцы, конкретно – Эдгар Сноу, известный журналист, написавший в 1935 году книгу “Красная звезда над Китаем” – о Великом походе и его руководителе Мао Цзэдуне. По этой книге американцы сняли и фильм, с успехом показанный в США.

О том, насколько важными представлялись Мао статьи и книги Сноу (он писал их до глубокой старости), говорит тот факт, что журналист был вхож к “великому кормчему” и в ту пору, когда тот, разбитый параличом, вообще никого не принимал, включая и высшее китайское руководство. Весьма наивно было бы предполагать, что знаменитая “пинг-понговая дипломатия” была предпринята США спонтанно, что называется, с чистого листа. Сноу и другие журналисты подготовили почву для контактов задолго до разрыва отношений КНР и СССР. Но теперь, когда об этом мало кто помнит, а Китай всё больше блокируется с Россией по важнейшим международным вопросам современности, появилась необходимость перечеркнуть всё, что было некогда написано Сноу и ему подобными.

Таким образом, и культ Мао, и его разоблачение – дело рук американцев!

Но надо отдать должное китайцам: они, в отличие от нас, отказались играть в эту чужую для них игру. После событий на площади Тяньаньмынь руководство Китая предложило оценивать деятельность Мао так: он ошибался, но на 30 процентов, а на остальные 70 был прав. Это решение я бы назвал столь же хитрым, сколь государственным и мудрым. Судите сами: “30 процентов ошибок” дают весьма большое пространство для критики, а вот “70 процентов достижений” большого пространства для славословий, как ни странно, не дают. Славословия такая штука – тут или всё, или ничего. Что же мы видим? Полярно противоположные оценки деятельности Мао в китайском обществе прекратились. Публицисты и историки стали искать “золотую середину”.

У нас же через 55 лет после смерти Сталина со страниц прессы и с экранов ТВ не сходят совершенно взаимоисключающие материалы о нем, хотя и государства, которое строил Сталин, уже не существует!

А кто создавал культ личности Сталина? Разумеется, Агитпроп, пресса, радио, кино... Но, между прочим, книг о Сталине у нас в 30-х годах почти не было, только партийные биографии (К. Радека, М. Кольцова, Е. Ярославского). Сталин, конечно, являлся эпизодическим героем многих советских литературных произведений, но случаи, когда он был их *главным героем*, можно пересчитать по пальцам. Я знаю три таких произведения: поэмы о Сталине Георгия Леонидзе и Георгия Шенгели, и пьеса Михаила Булгакова “Батум”. При этом следует помнить, что булгаковский “Батум” так и не был поставлен, а поэма Шенгели частично опубликована лишь в 2006 г. – в нашем журнале.

Книги о Сталине писали на Западе, а потом переводили у нас. Было бы естественно предположить, что его воспевали коминтерновцы, то есть советские агенты в западных рядах. Но это далеко не так. Из маститых творцов сталинианы лишь часть являлись коммунистами: Рафаэль Альберти, Луи Арагон, Анри Барбюс, Теодор Драйзер, Пабло Неруда. Остальные – Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Лион Фейхтвангер, Карел Чапек, Бернанд Шоу – были, что называется, “абстрактно” левыми. При этом отметим, что Чапек и Уэллс являлись президентами международной правозащитной писательской организации “ПЕН-клуб”.

Но Сталину курили фимиам и правые! Да еще более успешно, чем левые! Их книги стали на Западе бестселлерами. Осенью 1941 г., когда Гитлер рвался к Москве, крупное американское буржуазное издательство “Саймон энд Шустер” выпустило книгу бывшего посла США в Советском Союзе (1937–1938 гг.), убежденного антикоммуниста Джозефа Э. Дэвиса “Миссия в Москву”. 700 тысяч экземпляров “Миссии” в твердом переплете и полтора миллиона в мягком разлетелись мгновенно. Популярность книги была такова, что Институт Гэллага даже провел в октябре 1942 г. специальный опрос для выяснения причин этого феномена. Оказалось, “что основной заслугой автора “Миссии в Москву” читатели считают достоверность информации о суде над заговорщиками, выступившими против Сталина” (“Спутник”, 1989, № 11, с. 102). Что же это была за “достоверная информация”? Наверное, Дэвис, исходя из своих убеждений, разоблачил московский процесс 1938 г. как фальсификацию? Не тут-то было! “Итак, – писал Дэвис, – сомнений больше нет – вина уже установлена признанием самого обвиняемого (Бухарина. – **А. В.**)... И едва ли найдется зарубежный наблюдатель, который бы, следя за ходом процесса, не заметил, что, хотя многое выглядит абсолютно неправдоподобно, *не остается сомнения в причастности большинства обвиняемых к заговору, имевшему цель устранить Сталина*”.

Вот так! Между тем в “Миссии в Москву” Дэвис выражал лишь отнюдь не только свою точку зрения. Идея напечатать рукопись Дэвиса возникла у самого президента Рузвельта и официально была поддержана госдепартаментом США, предоставившим издательству “Саймон энд Шустер” необходимые документы! “Эта книга – явление, она на все времена”, – начертал Рузвельт на своем экземпляре “Миссии в Москву”. То есть президент США утверждал таким образом, что точка зрения Дэвиса историческому пересмотру не подлежит.

Что ж, интересно почитать, что написал Дэвис в книге “на все времена” о Сталине! Извольте: “Он... держался очень просто, но одновременно величественно. Он производит впечатление человека сильного, собранного и мудрого. В карих глазах – тепло и доброта. Ребенку бы понравилось сидеть у него на коленях, а собаке ласкаться у ног”.

Что называется, без комментариев!

Творцы советской сталинианы до таких восхвалений не доходили.

Сменивший Дэвиса на должности посла США в СССР Аверелл Гарриман (тоже, кстати, антикоммунист) давал Сталину еще более высокую оценку: “И. В. Сталин обладает глубокими знаниями, фантастической способностью вникать в детали, живостью ума и поразительно тонким пониманием человеческого характера. Я нашел, что он лучше информирован, чем Рузвельт, более реалистичен, чем Черчилль, и, в определенном смысле, наиболее эффективный из военных лидеров”.

Другой западный бестселлер, воспевающий Сталина, – это первая и последняя книга воспоминаний, удостоенная *литературной* Нобелевской премии. Она принадлежит перу антикоммуниста Уинстона Черчилля. У него, безусловно, более яркое перо, чем у Дэвиса и Гарримана:

“Большое счастье для России было то, что в годы тяжелейших испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в котором протекала его жизнь.

Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в Британском парламенте, не мог ничего противопоставить.

Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма, а также способностью точно выражать свои мысли.

Сталин речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала исполнинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов. Сталин произвел на меня величайшее впечатление. Его влияние на людей неотразимо.

Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам\*.

Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Был непревзойденным мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самый критический момент, а также в момент торжества был одинаков и сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Сталин был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих же врагов, заставил даже нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов\*\*.

Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил ее оснащенной атомным оружием.

Российские и западные либералы сейчас весьма неохотно комментируют подобные высказывания, заявляя обычно, что авторы их не знали о масштабе репрессий в СССР. Это ложь, рассчитанная на простаков. Книга Джозефа Дэвиса и книга Лиона Фейхтвангера “Москва 1937”, с которой вам предстоит познакомиться ниже, как раз являются попыткой оправдания сталинских репрессий. Черчилль же в процитированных мемуарах указывает, что на вопрос о цене, которую пришлось заплатить за коллективизацию, Сталин ответил ему — десять миллионов человек. Это, впрочем, никак не изменило отношения Черчилля к Сталину. Он, очевидно, не относился к так называемым гуманистам.

Мемуары Черчилля вышли уже после смерти Сталина, но Черчилль воспевал его и при жизни. В начале ноября 1945 г. центральная советская печать поместила выдержки из речи Черчилля, в которых он очень лестно отзывался о вкладе СССР в разгром общего врага и давал высокую оценку Сталину на посту Верховного Главнокомандующего в годы войны. Характерно, как отреагировал на это Сталин. Надо сказать, что его самого тогда в Москве не было. В октябре 1945 г. он перенес инсульт, и решением Политбюро был отправлен в отпуск, в котором пробыл более двух месяцев. “На хозяйстве” осталась “четверка”: Молотов, Маленков, Берия и Микоян во главе с Молотовым. Именно он разрешил опубликовать сокращенную речь Черчилля. Больной Сталин прочитал ее и 10 ноября направил “четверке” телеграмму: “Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалениями России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР... Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу... Советские

\* Не “мы”, а прежде всего сам Черчилль, потому что обезножевший Рузвельт встать не мог. — **Авт.**

\*\* Это признание дорогого стоит! Естественно, Черчилль, говоря “нас”, имел в виду как Англию и США, так и фашистскую Германию и ее сателлитов, то есть весь Запад, который для него являлся геополитической общностью независимо от временных политических разногласий. — **Авт.**

лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня”. (Из коллекции документов Администрации Президента РФ.)

В общем, Сталин как в воду глядел: именно тогда, когда лукавый Черчилль произнес свою речь “с восхвалениями России и Сталина”, он уже тайно готовил в тесном контакте с президентом США Труменом и действующим премьером Англии Эттли свою “Фултонскую акцию”, положившую начало “холодной войне” с СССР. Правда, и в Фултонской речи Черчилль подчеркивал свою личную приязнь к Сталину.

И, наконец, вот как оценивал Сталина самый правый западный политик 30–40-х гг. прошлого века и тогдашний главный военный противник СССР Адольф Гитлер: “. . . к Сталину, безусловно, тоже нужно относиться с должным уважением. В своем роде он просто гениальный тип. А его планы развития экономики настолько масштабны, что превзойти их могут лишь наши четырехлетние. . .

Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения. Наша задача – раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше не появлялись”.

В объективности этих слов Гитлера сомневаться не приходится, так как они были сказаны в кругу соратников 22 июля 1942 г., в разгар победоносного наступления немцев на Сталинград. Но весьма показательным, что, противопоставляя Сталина Черчиллю и Рузвельту, антисемит Гитлер проявил удивительное единодушие с американским евреем Гарриманом и выразил свою точку зрения практически теми же словами, что и Гарриман, хотя, конечно, не читал его слов!

Здесь самое время вспомнить о теме “Сталин и евреи”. Западные и российские СМИ ныне усиленно распространяют ложь о существовавшем якобы антагонизме сталинского государства и мирового еврейства и о том, что режим Сталина был чуть ли не в той же мере антисемитским, что и режим Гитлера. Между тем при жизни Сталина западная еврейская печать писала, что он – главная надежда мирового еврейства. Когда демонстрируешь фальсификаторам эти цитаты, они начинают вопить о “деле врачей” и послевоенной сталинской кампании “по борьбе с космополитизмом”, которая вообще-то, с точки зрения отношения к еврейским организациям, ничем не отличалась от маккартистской кампании в США, проводившейся в эти же годы\*. Американец Дэшил Хэммет, известный автор кровавых триллеров (правда, у нас почему-то не известно, что он тоже был сталинистом и большим поклонником СССР), прямо указывал, что маккартисты яростно стремились переломить тенденцию повального “левения” еврейских кругов США. Другой не менее известный американский писатель, Стивен Кинг, свидетельствовал, что маккартисты активно распространяли в американской провинции антисемитские брошюры. Жертвами смертных приговоров по обвинению в “антиамериканской деятельности” стали именно евреи (супруги Розенберги). Что ж, истинная подоплека обеих кампаний, американской и советской, предельно ясна. Власти США и СССР посчитали влиятельные еврейские круги своих стран недостаточно верноподданными – в том числе и в действиях на международной арене. (Причем американцы имели даже больше оснований для опасений: еврейские ученые-атомщики способствовали “утечке” в СССР секретов ядерного оружия.) Не оправдалась советская ставка на евреев как на “пятую колонну” СССР в Израиле и американская на “эмигрантское” еврейское крыло в восточноевропейских компартиях. Иных причин американского и советского “государственного антисемитизма” конца 40-х – начала 50-х гг. прошлого века не существовало в природе.

Ну и, конечно, как и в случае с историческими мошенниками, “забывшими” о западной сталиниане, творцы мифа об антисемитизме сталинского государства, когда уже исчерпали все аргументы, несут такую околесицу:

---

\* Именно такого рода истерическими воплями переполнен фильм о Сталине бывшего советского журналиста Аркадия Ваксберга, показанный в ночное время (1 час ночи) 25.03.2005. – Ред.

евреи, дескать, перевозили Сталина в 30–40-х гг. потому, что не знали о его юдофобских планах и акциях. На самом деле всё обстояло прямо противоположным образом: восхваления Сталина в западной еврейской печати появились как ответ на обвинения Сталина в антисемитизме, выдвинутые в 1937–1940 гг. жившим в Мексике Троцким. Более того, когда в 1937 году по инициативе Троцкого в США была создана комиссия под председательством известного философа-прагматика Джона Дьюи, занимавшаяся выяснением справедливости выдвинутых против Троцкого в ходе московских процессов обвинений, это вызвало резкие протесты во всех слоях американского общества. Еврейская печать негодовала по поводу утверждения Троцкого об “антисемитском подтексте процессов” (Д о й ч е р И с а а к. Пророк в изгнании. Иностранная литература, 1989, № 3, с. 179). В частности, некто Б. З. Гольдберг писал в еврейской газете “Нью-Йорк таг” в конце января 1937 г.: “Еврейская печать впервые слышит подобное обвинение. Что касается антисемитизма, то мы привыкли рассматривать Советский Союз как нашу единственную опору против него... Непростительно со стороны Троцкого предъявлять Сталину подобное обвинение”.

Книга немецкого еврея Лиона Фейхтвангера “Москва 1937” преследовала точно такую же цель, что и статья американского еврея Гольдберга в “Нью-Йорк таг”: выбить “антисемитскую карту” из рук Троцкого, намеревающегося натравить на Сталина международное еврейство. Фейхтвангер приехал в Москву в декабре 1936 г., аккуратно накануне второго московского процесса над троцкистами (Пятаковым, Радеком, Сокольниковым и другими), то есть как раз тогда, когда Троцкий начал поднимать мировые еврейские круги против Сталина. Книгу “Москва 1937” советские власти писателю не заказывали: она впервые была издана в амстердамском издательстве “Керидо” на немецком языке и лишь потом переведена и опубликована Гослитиздатом в СССР. Ее уже не отыскать в библиотеках – начали изымать книгу еще при Сталине, в 1939 г., очевидно, после улучшения отношений СССР с гитлеровской Германией, а закончили изъятие при Хрущеве. Книга “Андре Жид. Возвращение из СССР. Лион Фейхтвангер. Москва 1937”, выпущенная в 1990 г. Политиздатом, и “Москва 1937”, вышедшая в 2001 г. в издательстве “Захаров”, давно уже раскуплены. А экземпляр книги Фейхтвангера 1937 г. предлагают на интернет-маркете за 3504 рубля (плюс 180 руб. доставка)! В современные собрания сочинений Фейхтвангера “Москву 1937”, конечно, не включают. А между тем это заметный литературный вклад Запада в культ личности Сталина и, кроме того, интереснейший документ времени. Поэтому мы решили предложить несколько основных глав книги вниманию наших читателей.

Главы 6 и 7 “Москвы 1937” содержат прямую полемику с Троцким, и это, кстати, самые яркие страницы книги, написанной словно в стиле ее главного героя, Сталина, – намеренно простовато, короткими, в один абзац, главками, в “катехизической” манере “вопрос–ответ”. Фейхтвангер напрямую сравнивает Сталина и Троцкого, что советским писателям и журналистам не позволялось уже 10 лет: “Драматурга, который пожелал бы изобразить в своем произведении две столь противоположные индивидуальности, обвинили бы в надуманности и погоне за эффектами. Троцкий ловок в речи и жестах, он без труда изъясняется на многих языках, он высокомерен, красочен, остроумен. Сталин скорее монументален; упорной работой в духовной семинарии он завоевывал свое образование. Он не ловок, но он близко знает нужды своих крестьян и рабочих, он сам принадлежит к ним, и он никогда не был вынужден, как Троцкий, искать дорогу к ним, находясь на чужом участке. Разве эта красочность, подвижность, двуличие, надменность, ловкость в Троцком не должны быть Сталину столь же противны, как Троцкому твердость и угловатость Сталина?”

Зная, что многие в комиссии Дьюи будут ждать его выводов, Фейхтвангер без всяких экивоков дает ответ, выделив его в отдельную главу (“Вероятность обвинений против Троцкого”): “После тщательной проверки обвинений оказалось, что поведение, приписываемое Троцкому обвинением, не только не невероятно, но даже является единственно возможным для него поведением, соответствующим его внутреннему состоянию”. Напомню, точно такой же вывод в отношении Бухарина и других подсудимых сделал в 1938 г., на третьем московском процессе, Джозеф Э. Дэвис. Но Фейхтвангер, в отличие от Дэвиса, не считал, что “многое выглядит абсолютно неправдоподоб-

но”, напротив, он писал: “Признавались они все, но каждый на свой собственный манер: один с циничной интонацией, другой молодцевато, как солдат, третий, внутренне сопротивляясь, прибегая к уверткам, четвертый – как раскаивающийся ученик, пятый – поучая. Но тон, выражение лица, жесты у всех были правдивы”. В Москве у Фейхтвангера спрашивали: “Вы видели и слышали обвиняемых: создалось ли у вас впечатление, что их признания вынуждены?” Писатель отвечал: “Этого впечатления у меня действительно не создалось”. “Если спросить меня, – продолжал ниже он, – какова квинтэссенция моего мнения, то я смогу, по примеру мудрого публициста Эрнста Блоха, ответить словами Сократа, который по поводу некоторых неясностей у Гераклита сказал так: “То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно”.

Но не следует думать, что Фейхтвангер рядится в этой книге в одежды благожелательного, но беспристрастного наблюдателя. В главе 7 он наносит такой сокрушительный удар по Троцкому, которому позавидовал бы и Вышинский: “Эмиль Людвиг сообщает о своей беседе с Троцким, состоявшейся вскоре после высылки Троцкого на Принцевы острова, около Стамбула. Эту беседу Эмиль Людвиг опубликовал в 1931 году в своей книге “Дары жизни”. То, что было высказано уже тогда, в 1931 году, Троцким, должно заставить призадуматься всех, кто находит обвинения, предъявленные ему, нелепыми и абсурдными. **“Его собственная партия, – сообщает Людвиг (я цитирую дословно. – Л. Ф.), по словам Троцкого, рассеяна повсюду и поэтому трудно поддается учету. “Когда же она сможет собраться?” – Когда для этого представится какой-либо новый случай, например, война или новое вмешательство Европы, которая смогла бы почерпнуть смелость из слабости правительства. “Но в этом случае вас-то именно и не выпустят, даже если бы те захотели вас выпустить”. Пауза – в ней чувствуется презрение. – О, тогда, по всей вероятности, пути найдутся. – Теперь улыбается даже госпожа Троцкая”** (выделено мною. – А. В.). Так отвечает Троцкий на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами”.

Это Фейхтвангер написал не для советских читателей, а для западных евреев. Им же предназначены и следующие слова в “Москве 1937”, в которые сам писатель, очевидно, верил: “Великий организатор Сталин... он, этот великий математик и психолог, пытается использовать для своих целей своих противников, способностей которых он никоим образом не недооценивает. Он заведомо окружил себя многими людьми, близкими по духу Троцкому. Его считают беспощадным, а он в продолжение многих лет борется за то, чтобы привлечь на свою сторону способных троцкистов, вместо того чтобы их уничтожить, и в упорных стараниях, с которыми он пытается использовать их в интересах своего дела, есть что-то трогательное”. Тут как-то сразу вспоминаешь более трезвое и менее трогательное высказывание Черчилля на сей счет: “Сталин был человек, который своего врага уничтожал руками своих же врагов”. Однако и в словах Фейхтвангера есть зерно истины: ведь возвысил же Сталин, на свою голову, Хрущева, бывшего, по утверждению Кагановича, в 1923–1924 гг. троцкистом...

Советское издание “Москвы 1937” предвворяет вступление “От издательства”, написанное, я думаю, самим Сталиным. В нем, в частности, говорится: “Изданная в Амстердаме на немецком языке книжка Лиона Фейхтвангера “Москва 1937”, в которой “автор на основе личных впечатлений и наблюдений от поездки в СССР дает оценку современного положения СССР”, его политической, хозяйственной и культурной жизни, представляет несомненный интерес. Книжка содержит ряд ошибок и неправильных оценок. В этих ошибках легко может разобраться советский читатель. Тем не менее книжка представляет интерес и значение как попытка честно и добросовестно изучить Советский Союз”. Именно Сталин имел обыкновение говорить не “книга”, а “книжка”. И только Сталин, заявив, что важная в политическом отношении книжка “содержит ряд ошибок и неправильных оценок”, мог позволить себе не разъяснять подробно эти ошибки и оценки, а ограничиться небрежным утверждением: “В этих ошибках легко может разобраться советский читатель”. Характерны для стиля Сталина и повторы: “книжка... представляет несомненный интерес”, “книжка представляет интерес и значение”. Рецензенту от издательства, несомненно, на них бы указали. Наконец, манера письма – утверждение, соединенное с противопоставлением, – тоже явно принадлежит Сталину: “В то время,

когда буржуазные разбойники пера, в угоду капитализму и фашизму, состязаются в фабрикации отравленной лжи и клеветы против СССР, Фейхтвангер старается доискаться объективной правды об СССР и понять его особенности”.

Лично я убежден, что никакой “объективной правды об СССР” и, в частности, о московских процессах ни Фейхтвангер, ни Дэвис не искали. Первое, на что они должны были, как западные люди и “объективные наблюдатели”, обратить внимание в зале суда – это на абсолютную пассивность адвокатов. Но о них у Фейхтвангера и Дэвиса – ни слова. А ведь прокурор требовал для большинства обвиняемых смертных приговоров! Где же свидетели со стороны защиты? И левый Фейхтвангер, и правый Дэвис не могли признать объективными процессы, состоящие только из обвинительной части. Лишь дважды – в середине и конце “Москвы 1937” – автор скромно проговаривается: “После убийства Кирова дела о троцкистах в Советском Союзе разбирают военные суды. Эти люди стояли перед военным судом, и военный суд их осудил”. Ах, вот как, военный суд. . . Стало быть, вы присутствовали на военных, чрезвычайных судах, где так называемые права обвиняемых урезаны до минимума, но не стали акцентировать на этом внимание читателей. . . Почему? Потому, что Фейхтвангер и Дэвис еще до процессов знали, что будут писать о судах. Их цель состояла в том, чтобы написать не просто благожелательные книги об СССР, а дать благожелательные для Сталина отчеты о процессах. Такова была воля тех кругов, что направили Фейхтвангера и Дэвиса в СССР. В тот исторический период они делали ставку на Сталина – против Гитлера, против поднимающего голову в Европе радикального национализма.

Теперь эти же самые круги разоблачают Сталина за те деяния, которые они признали в 1937–1938 гг. правомерными и даже необходимыми. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и сильнейшую досаду, которую Запад впервые испытал в августе 1939 г., когда понял, что Сталин обманул его, использовал в своих целях, как это испокон веку делал сам Запад. В подобных разворотах на 180 градусов нет ничего удивительного, такова вообще двуличная, лицемерная сущность политики Запада, но просто обидно за простецов, которые, как попугаи, повторяют всё, что диктуют им “из-за бугра”. Вчера: “Сталину – слава!”, а сегодня: “Сталину – позор!”.

Но всё же я не стал бы утверждать, что Фейхтвангер являлся лишь механическим исполнителем чьей-то воли. Написанное в “Москве 1937” соответствовало убеждениям писателя. Он не был коммунистом, не был даже социалистом, он являлся классическим левым либералом из числа тех, кто считает демократию привилегией “разумного меньшинства”. Серым большинством, по его мнению, управляют “не разум, а чувства и предрассудки” (очевидно, он имел в виду юдофобию), поэтому оно демократии недостойно. В тоталитарном интернациональном обществе, созданном коммунистом Сталиным, он видел реальную альтернативу тоталитарному ультра националистическому обществу, созданному Гитлером. К тому же, в беседе со Сталиным 8 января 1937 г. (мы приводим ее запись вслед за отрывками из “Москвы 1937”), Фейхтвангер получил своеобразную гарантию, что советский тоталитаризм не свернет на путь немецкого. Отвечая на вопрос писателя: “В каких пределах возможна в советской литературе критика?”, Сталин сказал: “Мы не можем допустить, чтобы постоянно напоминали, что русские были когда-то господствующей нацией”. Конечно, эти слова пришлись по вкусу Фейхтвангеру. Мы знаем, что они стоили жизни Павлу Васильеву, Николаю Клюеву, Сергею Клычкову, Петру Орешину. . . Но Сталин был не в меньшей степени прагматик, чем те, кто не всегда бескорыстно воспевал его на Западе. Как известно, во время Великой Отечественной войны и после нее он не раз допускал противоположное обещанному Фейхтвангеру, взять хотя бы первые строки нового гимна СССР: “Союз нерушимый республик свободных / Сплотила навеки Великая Русь”.

Вы спросите: а какая же разница, в таком случае, между Сталиным и двуличными и беспринципными западными людьми, которые сначала воспевали, а потом смешивали его с грязью? Разница, тем не менее, есть. В этом смысле весьма характерно и даже символично завершение беседы Фейхтвангера со Сталиным 8 января 1937 г.: “**Сталин.** . . . Это не обычные преступники, не воры, у них (троцкистов. – **А. В.**) осталось кое-что от совести. Ведь Иуда, совершив предательство, потом повесился. **Фейхтвангер.** Об Иуде – это легенда. **Сталин.** Это не простая легенда. В эту легенду еврейский народ вложил свою великую народную мудрость”.

Фейхтвангер, если судить по его творчеству, не верил ни в какую “великую народную мудрость” (в том числе, наверное, и в еврейскую), не верил и в раскаяние предателей, в частности, главного предателя из рода человеческого – Иуды. Да и вообще, спроси его Сталин, кем он считает Иуду, то Фейхтвангер, скорее всего, ответил бы: прогрессивным представителем своего времени, борцом с тьмой предрассудков, вроде древнегреческого Прометейя. Сталин же, называя легенду об Иуде “великой народной мудростью”, должен был понимать, что никакой особой мудрости, тем более великой, эта легенда в отрыве от предания об Иисусе Христе не содержит. Предатель есть предатель: что из того, если он повесился? Самоубийство злодея далеко не всегда означает его раскаяние. Иуде могли и “помочь”, как в романной версии евангельских событий М. Булгакова. Стало быть, если что и является “великой народной мудростью”, то это рассказ о жертве предательства Иуды – Господе нашем Иисусе Христе. Ведь если Иуда, наконец, понял, *Кого* он предал, то ему, действительно, ничего не оставалось, как повеситься.

Сталин, этот атеист, получивший в юности русское православное образование, понимал, в чем сакральная суть предательства, а вот западный атеист Фейхтвангер – нет. Даже отыскав зубодробительный компромат на Троцкого в книге своего единомышленника Эмиля Людвига, он, по-видимому, возможности договора между евреем Троцким и нацистами-антисемитами ничуть не удивляется. Сталин же, умевший использовать Запад в своих целях не хуже, чем это делал сам Запад в отношении других стран, всеми силами своей души ненавидел людей, предававших его и возглавляемую им страну, и был для них поистине бичом Божиим.

В предисловии к “Москве 1937” Фейхтвангер пишет: “Мировая история мне всегда представлялась великой длительной борьбой, которую ведет разумное меньшинство с большинством глупцов. В этой борьбе я стал на сторону разума, и потому я симпатизировал великому опыту, предпринятому Москвой, с самого его возникновения”.

Между строк “Москвы 1937” легко прочитывается, что Троцкий, стоявший у истоков “великого опыта”, тоже был Фейхтвангеру симпатичен – именно как представитель “разумного меньшинства”. Не исключено, что в случае победы Троцкого прагматичный автор писал бы дифирамбы Троцкому. Но победил Сталин. Стало быть, он, с точки зрения “чистого разума”, и заслужил дифирамбы.

И Фейхтвангер воспел победу Сталина, причем, я полагаю, вполне искренне. Ведь прагматики считают, что победа случайной не бывает. А верующие иудеи придерживаются убеждения, что на стороне победителя Бог. Я допускаю, что именно по этой причине многие евреи-сталинисты стали ниспровергать Сталина после его смерти. Ведь он умер, а значит, Бог уже не на его стороне.

Учитывая отмеченный феномен, мы сокращали, главным образом, слишком назойливые восторги Фейхтвангера в адрес СССР, а не критику им советских порядков. Не исключено, что автор “Москвы 1937” задумал ее в качестве историко-политической антитезы к известному памфлету Астольфа де Кюстина “Россия 1839”. Схожесть названий укрепляет это предположение.

Есть книга с провокационным названием “Фашистский меч ковался в СССР” (хотя ее содержание доказывает нечто прямо противоположное). Эту статью можно было бы озаглавить “Культ личности Сталина ковался на Западе”.

“Москва 1937” завершается словами: “Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать: да, да, да! И так как я считал не порядочным прятать это “да” в своей груди, я и написал эту книгу”.

Итак, перед нами исповедь еврея-сталиниста.



## ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

# МОСКВА 1937

### От издательства

*Изданная в Амстердаме на немецком языке книжка Лиона Фейхтвангера “Москва 1937”, в которой “автор на основе личных впечатлений и наблюдений от поездки в СССР дает оценку современного положения СССР”, его политической, хозяйственной и культурной жизни, представляет несомненный интерес. Книжка содержит ряд ошибок и неправильных оценок. В этих ошибках легко может разобраться советский читатель. Тем не менее книжка представляет интерес и значение, как попытка честно и добросовестно изучить Советский Союз.*

*Фейхтвангер принадлежит к числу тех немногих некоммунистических писателей на Западе, которые не боятся правды, не сложили оружия перед фашизмом, а продолжают борьбу с ним. В то время, когда буржуазные разбойники пера в угоду капитализму и фашизму состязаются в фабрикации отравленной лжи и клеветы против СССР, Фейхтвангер старается доискаться объективной правды об СССР и понять его особенности.*

### ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

Я пустился в путь в качестве “симпатизирующего”. Да, я симпатизировал с самого начала эксперименту, поставившему себе целью построить гигантское государство только на базисе разума, и ехал в Москву с желанием, чтобы этот эксперимент был удачным. Как бы мало я ни был склонен исключать из частной жизни человека его логическое, нелогическое и чувства, как бы я ни находил жизнь, построенную на одной чистой логике, однообразной и скучной, все же я глубоко убежден в том, что общественная организация, если она хочет развиваться и процветать, должна строиться на основах разума и здравых суждений. Мы с содроганием видели на примере Центральной Европы, что получается, когда фундаментом государства и законов хотят сделать не разум, а чувства и предрассудки. Мировая история мне всегда представлялась великой длительной борьбой, которую ведет разумное меньшинство с большинством глупцов. В этой борьбе я стал на сторону разума, и потому я симпатизировал великому опыту, предпринятому Москвой, с самого его возникновения.

Однако с самого начала к моим симпатиям примешивались сомнения. Практический социализм мог быть построен только посредством диктатуры класса, и Советский Союз был в самом деле государством диктатуры. Но я писатель, писатель по призванию, а это означает, что я испытываю страстную потребность свободно выражать все, что я чувствую, думаю, вижу, переживаю, невзирая на лица, на классы, партии и идеологии, и поэтому при всей моей симпатии я все же чувствовал недоверие к Москве. Правда, Советский Союз выработал демократическую, свободную конституцию; но люди, заслуживающие доверия, говорили мне, что эта свобода на практике имеет весьма растрепанный и исковерканный вид, а вышедшая перед самым моим отъездом небольшая книга Андре Жида только укрепила мои сомнения.

Я мог с удовлетворением констатировать, что моя откровенность в Москве не вызвала обиды. Газеты помещали мои замечания на видном месте, хотя, возможно, правящим лицам они не особенно нравились. В этих заметках я высказывался за большую терпимость в некоторых областях, выражал свое недоумение по поводу иной раз безвкусно преувеличенного культа Сталина и говорил насчет того, что следовало бы с большей ясностью раскрыть, какими мотивами руководствовались обвиняемые второго троцкистского процесса, признаваясь в содеянном. И в частных беседах руководители страны относились к моей критике с вниманием и отвечали откровенностью на откровенность. Именно потому, что свое мнение я выражал неприкрыто, я получил сведения, которые в противном случае мне едва ли удалось бы получить.

После моего возвращения на Запад передо мной встал вопрос: должен ли я говорить о том, что я видел в Советском Союзе? Это не являлось бы проблемой, если бы я, как другие, увидел в Советском Союзе много отрицательного и мало положительного. Мое выступление встретили бы с ликованием. Но я заметил там больше света, чем тени, а Советский Союз не любит и слышать хорошее о нем не хотят. Мне тотчас же было на это указано. Я не очень часто выступал в печати Советского Союза со своими впечатлениями. Мои выступления составили менее двухсот строк, при этом они отнюдь не заключали в себе только похвалу; но даже это небольшое было здесь, на Западе, ввиду того, что оно не представляло безоговорочного отрицания, искажено и опущено. Должен ли я был продолжать говорить о Советском Союзе?

Однако вскоре другие соображения одержали верх. Советский Союз ведет борьбу с многими врагами, и его союзники оказывают ему только слабую поддержку. Тупость, злая воля и косность стремятся к тому, чтобы опорочить, оклеветать, отрицать все плодотворное, возникающее на Востоке. Но писатель, увидевший великое, не смеет уклоняться от дачи свидетельских показаний, если даже это великое непопулярно и его слова будут многим неприятны. Поэтому я и свидетельствую.

## Из главы I

### БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

В Советский Союз я приехал из стран, в которых мы привыкли слышать вокруг себя жалобы. Население не было довольным ни своим внешним, ни своим внутренним положением и жаждало перемен. Отовсюду неслись бесчисленные вопли отчаяния, особенно из стран фашистской диктатуры, несмотря на то, что критика там каралась как государственная измена, гнев и отчаяние побеждали страх перед тюрьмой и концентрационным лагерем.

В Москве все еще ощущается недостаток во многом, что нам на Западе кажется необходимым. Жизнь в Москве никоим образом не является такой легкой, как этого хотелось бы руководителям. Годы голода остались позади, это правда. В многочисленных магазинах можно в любое время и в большом выборе получить продукты питания по ценам, вполне доступным среднему гражданину Союза — рабочему и крестьянину. Особенно дешево и весьма хороши по качеству консервы всех видов. Статистика показывает, что на одного жителя Советского Союза приходится больше продуктов питания и лучшего качества, чем, например, в Германской империи или в Италии, и, судя по тому, что я видел во время небольшой поездки по Союзу, эта статистика не лжет. Бросается в глаза изобилие угощения, с которым люди даже с ограни-

ченными средствами принимают нежданного гостя. Правда, эта обильная и доброкачественная пища готовится часто без любви к делу и без искусства. Но москвичу нравится его еда — ведь его стол так хорошо обставлен только с недавних пор. В течение двух лет, с 1934 по 1936 год, потребление пищевых продуктов в Москве увеличилось на 28,8% на душу населения, а если взять статистику довоенного времени, то с 1913 по 1937 год потребление мяса и жиров выросло на 95%, сахара — на 250%, хлеба — на 150%, картофеля — на 65%. Неудивительно, что после стольких лет голода и лишений москвичу его питание кажется идеальным.

### **Что есть и чего нет**

Когда приезжаешь с Запада, бросается в глаза также недостаток в других вещах повседневного обихода. Например, очень ограничен выбор бумаги всякого рода, и в магазинах можно получить ее только в небольших количествах; ощущается также недостаток в косметических и медицинских товарах. При посещении магазинов бросается в глаза некоторая безвкукусность отдельных товаров. Многие, правда, опять-таки радуют своей красивой формой, целесообразностью и дешевизной, например настольные лампы, деревянные коробки, фотоаппараты, граммофоны. Очевидно, что с возрастающей зажиточностью повышаются и потребности, и если в годы нужды люди довольствовались только самым необходимым, то теперь начал расти спрос и на излишества. Спрос этот растет настолько быстро, что производство не поспевает за ним и у магазинов можно часто увидеть очереди.

Существуют еще другие неудобства, осложняющие быт москвичей. Правда, средства сообщения работают хорошо, и наивная гордость местных патриотов по отношению к их метрополитену вполне обоснованна: он действительно самый красивый и самый удобный в мире. Но трамваи зачастую еще переполнены, а получить такси очень трудно. Один мой знакомый, проживающий в сорока километрах от Москвы, опоздал на поезд, отходящий за границу, только потому, что, несмотря на многочасовые поиски, не мог достать автомобиля для перевозки своего багажа.

### **Жилищная нужда**

Однако тяжелее всего ощущается жилищная нужда. Значительная часть населения живет скученно, в крохотных убогих комнатках, трудно проветриваемых зимой. Приходится становиться в очередь в уборную и к водопроводу. Видные политические деятели, писатели, ученые с высокими окладами живут примитивнее, чем некоторые мелкие буржуа на Западе...

Но гарантии и преимущества, которые имеет советский гражданин по сравнению с гражданами западных государств, представляются ему настолько огромными, что перед ними бледнеют неудобства его быта. Социалистическое плановое хозяйство гарантирует каждому гражданину возможность получения в любое время осмысленной работы и беззаботную старость. Безработица действительно ликвидирована, а также ликвидирована в полном смысле слова и эксплуатация. Количество работы, которое государство требует от каждого своего гражданина, не лишает последнего возможности тратить значительную часть своих сил по своему личному усмотрению. Каждый шестой день они свободны; семичасовой рабочий день проведен; каждый работающий располагает месячным оплачиваемым отпуском. Насколько бедны частные жилища, настолько светлы, просторны и уютны многочисленные дома отдыха, предоставляемые советским гражданам по самым дешевым ценам на время их отпусков.

Чувство безусловной обеспеченности, спокойная уверенность каждого человека в том, что государство действительно существует для него, а не только он существует для государства, объясняет наивную гордость, с которой москвичи говорят о своих фабриках, своем сельском хозяйстве, своем строительстве, своих театрах, своей армии. Но больше всего они гордятся своей молодежью...

Для молодежи делается все, что вообще возможно. Повсюду имеется бесчисленное множество превосходно организованных яслей, детских садов, большая сеть школ, число которых растет с невероятной быстротой. Дети

имеют свои стадионы, кино, кафе и прекрасные театры. Для более зрелых имеются университеты, бесчисленные курсы на отдельных производствах и в крестьянских коллективных хозяйствах, культурные организации Красной Армии. Условия, в которых растет советская молодежь, более благоприятны, чем где бы то ни было.

Большинство писем, получаемых мною от молодых людей всех стран, за исключением писем молодых людей Советского Союза, содержат призывы о помощи. Огромные массы молодых людей Запада не знают, куда им податься ни в смысле физическом, ни в смысле духовном; у них не только нет надежды получить работу, которая смогла бы доставить им радость, у них вообще нет надежды на получение работы. Они не знают, что им делать, они не знают, в чем смысл их существования, все пути, лежащие перед ними, кажутся им лишенными цели. . .

По статистике западных стран, процентная норма студентов, выходцев из крестьян или рабочих, чрезвычайно низка. Отсюда сам собой напрашивается вывод, что в западных странах огромное количество способных людей обречено на невежество только потому, что их родители не имеют имущества, в то время как множество неспособных, родители которых имеют деньги, принуждаются к учению. С воодушевлением смотришь, как миллионы людей Советского Союза, которые при существовавших еще двадцать лет тому назад условиях должны были бы прозябать в крайнем невежестве, ныне, когда перед ними открылись двери, с восторгом устремляются в учебные заведения. Советский Союз, поднявший огромные массы лежавших до того втуне полезных ископаемых, обратил себе на пользу также дремавший под спудом могучий пласт интеллигенции. Успех на этом участке был не меньший, чем на первом. С радостной жадностью эти пролетарии и крестьяне с молодыми и свежими мозгами принимаются за изучение новых для них наук, глотают и переваривают их, и непосредственность, с которой их юные глаза впитывают накопленные тремя тысячелетиями знания, с которой они открывают в них новые, неожиданные стороны, подбодряет того, кто после всего пережитого со времени войны был уже готов отчаяться в будущем человеческой цивилизации. . .

Писателю доставляет истинную радость сознание того, что его книги находятся в библиотеках этих молодых советских людей. Почти во всех странах мира имеются заинтересованные читатели, обращающиеся с любознательными вопросами к автору. Однако на Западе в большинстве случаев книги являются только культурным времяпрепровождением, роскошью. Но для читателя Советского Союза как будто не существует границ между действительностью, в которой он живет, и миром его книг. Он относится к персонажам своих книг, как к живым людям, окружающим его, спорит с ними, отчитывает их, видит реальность в событиях книги и в ее людях. Я неоднократно имел возможность обсуждать на фабриках с коллективами читателей свои книги. Там были инженеры, рабочие, служащие. Они прекрасно знали мои книги, некоторые места даже лучше, чем я сам. Отвечать им было не всегда легко. Они, эти молодые крестьянские и рабочие интеллигенты, задают весьма неожиданные вопросы, защищают свою точку зрения почтительно, но упорно и решительно. Они лишают автора возможности спрятаться за законы эстетики и рассуждений о литературной технике и поэтической свободе. Автор создал своих людей, он за них отвечает, и если он на вежливые, но решительные возражения и сомнения своих молодых читателей дает не вполне правдивые ответы, то читатели немедленно дают ему почувствовать свое неудовольствие. Очень полезно беседовать с такой аудиторией. . .

Я уже говорил о том, в каких убогих и тесных жилищах, как скученно живут москвичи. Но москвичи понимают, что и жилищное строительство ведется по принципу: сначала для общества, а потом для одиночек, и представительный вид общественных зданий и учреждений их до известной степени за это компенсирует. Клубы рабочих и служащих, библиотеки, парки, стадионы — все это богато, красиво, просторно. Общественные здания монументальны, и благодаря электрификации Москва сияет ночью, как ни один город в мире. Жизнь москвича проходит в очень значительной части в общественных местах; он любит улицу, охотно проводит время в своих клубах или залах собраний, он страстный спорщик и любит больше дискутировать, чем молча предаваться размышлениям. Уютные помещения клуба помогают ему легче переносить непривлекательную домашнюю обстановку. Однако основное уте-

шение в своей печали по поводу скверных жилищных условий он черпает в обещании: Москва будет прекрасной.

## Из главы II

### КОНФОРМИЗМ И ИНДИВИДУАЛИЗМ

Пора было бы положить конец этой “fable convenue” (распространенной небылице. — **Ред.**) о лени русского человека. Народ, который еще двадцать лет тому назад почти задыхался в нищете, грязи и невежестве, является в настоящее время обладателем высокоразвитой промышленности, рационализированного сельского хозяйства, громадного количества новоотстроенных или до основания перестроенных городов и, кроме того, полностью ликвидировал свою неграмотность. Возможно ли, чтобы ленивые по природе люди могли выполнить такую работу? Допустим, что Советскому Союзу посчастливилось найти необычайно талантливых вождей, но даже если бы все гении, которыми на протяжении веков располагало человечество, были собраны в эти двадцать лет в Москве, они не смогли бы заставить ленивый по природе народ проделать такую гигантскую работу. Неудивительно, что крестьяне и рабочие, пока им приходилось гнуть спину для капиталистов и помещиков, считали свой труд бременем и стремились освободиться от него; с тех пор, как они увидели, что плоды этого труда идут на пользу им самим, отношение их к труду в корне изменилось.

Жажда чтения у советских людей с трудом поддается вообще представлению. Газеты, журналы, книги — все это проглатывается, ни в малейшей степени не утоляя этой жажды. Я должен рассказать об одном небольшом случае. Я осматривал новую типографию самой распространенной московской газеты “Правда”. Мы расхаживали по гигантской ротационной машине, занимающей первое место в мире по своей производительности; в течение двух часов она отпечатывает два миллиона экземпляров газет. Машина в целом похожа на огромный паровоз, и по ее огромной платформе длиной в восемьдесят метров можно разгуливать, как по палубе океанского парохода. Прогуляв по ней около четверти часа, я вдруг обратил внимание на то, что машина занимает только одну половину зала, а другая половина пустует. Я спросил о причине этого. “В настоящее время, — ответили мне, — мы печатаем “Правду” тиражом только в два миллиона. Но у нас имеется еще пять миллионов заявок подписчиков, и как только наши бумажные фабрики будут в состоянии снабжать нас бумагой, мы установим вторую машину”.

Книги излюбленных авторов также печатаются в тиражах, цифра которых заставляет заграничных издателей широко раскрывать рот. Тираж сочинений Пушкина к концу 1936 года превысил тридцать один миллион экземпляров; книги Маркса и Ленина выпущены еще большими тиражами; только недостаток в бумаге ограничивает цифры тиражей книг популярных писателей. Книгу такого популярного писателя обычно невозможно получить ни в одном книжном магазине, ни в одной библиотеке; при появлении нового издания сразу же выстраиваются очереди покупателей, и весь тираж, если он достигает даже 20000, 50000, 100000 экземпляров, расхватывается в несколько часов. В библиотеках — их 70000 — книги любимых авторов должны заказываться за несколько недель вперед. Таким образом, эти книги представляют собой нечто ценное, хотя и продаются по весьма дешевым ценам, так что когда мне сказали: “Деньги вы можете оставлять незапертыми, но книги свои держите, пожалуйста, под замком”, — то я отнесся к этому не просто как к шутке. Книги известных писателей переводятся на множество языков народов Союза, и их читают национальности, названия которых сам автор с трудом может выговорить.

Я уже упоминал о том, что советские читатели проявляют к книге более глубокий интерес, чем читатели других стран, и о том, что персонажи книг живут для них реальной жизнью. Герои прочитанного романа становятся в Советском Союзе такими же живыми существами, как какое-нибудь лицо, участвующее в общественной жизни. Если писатель привлек к себе внимание советских граждан, то он пользуется у них такой же популярностью, какой в других странах пользуются только кинозвезды или боксеры, и люди открываются ему, как верующие католики своему духовному отцу.

Очень трудно, говоря о московских театрах и фильмах, продолжать повествование в деловом духе и не восторгаться как представлениями, так и публикой. Советские люди – это самые лучшие в мире, самые отважные, полные чувства ответственности режиссеры и музыканты. Как москвичи играют произведения своих собственных композиторов – Чайковского, Римского-Корсакова, “Тихий Дон” молодого Дзержинского, как они играют “Фигаро” или “Кармен” – это не только совершенно в музыкальном отношении, режиссура, актерское исполнение, сценическое оформление – все поражает новизной и необычайной полнотой жизни. Создать произведения, равные произведениям Московского художественного и Вахтанговского театров, театры других стран не могут: у них, не говоря о таланте, недостает для этого ни денег, ни терпения: чтобы достигнуть такого овладения каждой ролью и такой сыгранности ансамбля, нужно репетировать долгие месяцы, иногда и годы, а это возможно только тогда, когда режиссер не чувствует над собой плетки предпринимателя, заинтересованного только в материальной выгоде. Сценические картины отличаются такой законченностью, какой мне нигде до сих пор не приходилось видеть; декорации, там, где это уместно, например в опере или в некоторых исторических пьесах, поражают своим расточительным великолепием. Раньше увлекались экстравагантностью. Увлечение это утихло, вкусы стали умереннее, однако смелые, интересные эксперименты встречаются и поныне, как, например, пьеса “Много шума из ничего” в Вахтанговском театре. Каждая деталь была легко и грациозно подана, смелость спектакля граничила с дерзостью, а сочетание Шекспира с джазом оказалось прекрасным...

Публика тоже не остается неблагодарной. В Москве тридцать восемь больших театров, бесчисленное множество клубных сцен, любительских кружков. Помимо всего этого еще целый ряд новых театров находится в строительстве. Места во всех театрах почти постоянно распроданы, билет туда достать нелегко; мне рассказывали, что в Художественном театре со дня его основания не было ни одного незанятого кресла. Публика сидит перед сценой или перед полотном экрана, отдавшись целиком своему чувству, жадно впитывая каждый нюанс; при этом она полна наивности, которая одна в состоянии обеспечить подлинное наслаждение произведением искусства. В этой впечатлительной публике чувствуется одновременно и наивность, и критическое отношение к окружающему. Она “смакует” тонкие психологические нюансы не меньше, чем какой-нибудь мастерский декоративный трюк. Это видно из следующего: когда крупный актер Хмелев в роли царя Федора в одноименной исторической драме Толстого, вместо того чтобы решительно выступить, неуверенно улыбается и едва заметно поворачивает шею, как будто его что-то давит, – старик, сидевший рядом со мной, тяжело и печально вздохнул; он понял, что царь там, на сцене, усмехается над тем, что счастье не улыбнулось ни ему, ни его государству. А когда Отелло, попавшись на удочку, поверил в любовную связь Дездемоны с Кассио, у молодой женщины, сидевшей около меня, вырвался короткий заглушенный крик, и она отчетливо произнесла: “дурак”. Когда в самом последнем акте “Кармен” стена цирка поднимается и взору горящей нетерпением публики представляется бой быков, над залом с двумя с половиной тысячами слушателей проносится глубокое, счастливое “ах”, полное восхищения. Нужно видеть, с каким возмущением зрители на фильме Вишневого “Мы из Кронштадта” смотрят, как белогвардейцы заставляют своих связанных пленников прыгать в море, и с каким негодованием они реагируют на то, что даже совсем юный, пятнадцатилетний пленник подвергается той же участи.

Несомненно, основным тоном Советского Союза и по сегодняшний день остался тон героический, способный увлечь художника, а угроза войны, исходящая от фашистских держав, должна оказывать влияние на мышление писателя и художника, заставляя этот героический оптимизм звучать лейтмотивом во многих произведениях. Но я не могу себе представить, чтобы героические темы заняли такое огромное место в книгах, фильмах и театрах, если бы это не поощрялось всеми средствами со стороны руководящих организаций. Несомненно, писателю, рискнувшему отклониться от генеральной линии, приходится не очень легко. Например, имя одного крупного лирика, основными настроениями творчества которого являются меланхолия, осенние мотивы, во всяком случае никак не героический оптимизм, не упоминается ни в прессе, ни в общественных местах, несмотря на то, что вещи его еще

печатаются, его читают, и он вообще любим; страх перед запретным поражением выражается у тех, кто заведует средствами производства, иногда прямо-таки в ребяческих формах. Например, рассказ, автором которого является один известный писатель и в котором летчик ставит рекорд и потом гибнет, был вычеркнут из сборника рассказов этого автора сверхбоязливым редактором как “слишком пессимистический”.

Стремление не отклоняться от генеральной линии героического оптимизма находит отражение на сцене еще более острое, чем в книге, а особенно сильно оно звучит в фильмах. Здесь везде вмешиваются контрольные организации, стремясь за счет художественного качества произведения выправить его политические тенденции, усилить их, подчеркнуть. Несомненно, героический оптимизм создал несколько замечательных произведений, например “Оптимистическую трагедию” Вишневского и его фильм “Мы из Кронштадта”, или пьесу Афиногенова “Далекое”, или уже упоминавшуюся оперу Дзержинского “Тихий Дон”. Здесь тенденция, как бы она ни была заметна, не мешает, хотя, возможно, “Тихий Дон” только выиграл бы от того, если бы в конце красным флагом взмахнули один раз вместо двух. Но в других произведениях, как в кино, так и на сцене, слишком густо поданная тенденция часто портит художественное впечатление, например, пьеса “Интервенция” или фильм “Последняя ночь”, несомненно, представляющие в техническом отношении очень большое мастерство, отталкивают своими слишком грубо, только белой и черной краской, нарисованными характерами...

### Из главы III

#### ДЕМОКРАТИЯ И ДИКТАТУРА

Теперь мы подошли к вопросу, который, когда заходит разговор о Москве текущего, 1937 года, вызывает, пожалуй, самые острые дискуссии. Это вопрос о том, как в Советском Союзе обстоит дело со “свободой”.

Советские люди утверждают, что только они одни обладают фактической демократией и что в так называемых демократических странах эта свобода имеет чисто формальный характер. Демократия означает господство народа, но как же, спрашивают советские люди, может народ осуществлять свое господство, если он не владеет средствами производства? В так называемых демократических странах, утверждают они, народ является номинальным властителем, лишенным власти. Власть принадлежит тем, кто владеет средствами производства. К чему же сводится, спрашивают они далее, так называемая демократическая свобода, если присмотреться к ней повнимательней? Она ограничивается свободой безнаказанно ругать правительство и враждебные политические партии и один раз в три или четыре года пользоваться правом тайно опускать в избирательную урну выборный бюллетень. Но нигде эти “свободы” не дают гарантии или хотя бы только возможности фактически осуществить волю большинства. Как использовать свободу слова, печати и собраний, не располагая в то же время ни типографиями, ни собственной прессой, ни залами для собраний? В какой стране народ имеет все это в своем распоряжении? В какой стране может он эффективно выразить свое мнение и где могут его делегаты эффективно представлять его? Веймарская конституция считалась самой свободной конституцией в мире. А был ли парламент, избранный на основе избирательного права этой конституции, в состоянии обеспечить проведение воли народа? Смог ли этот парламент воспрепятствовать приходу к власти диктатуры фашистского меньшинства? И советские граждане в заключение заявляют: все так называемые демократические свободы останутся фиктивными свободами до тех пор, пока под них не будет подведен фундамент подлинной народной свободы, то есть пока сам народ не будет распоряжаться средствами производства.

“Видите ли, — говорил мне один из ведущих государственных деятелей Советского Союза, — руководящие политики буржуазных демократий так же, как и мы, своевременно поняли, что против военной угрозы фашистских государств успех может иметь только одна-единственная политика — политика контрвооружения. Но, считаясь с такими факторами, как выборы, парламент и искусственно создаваемое общественное мнение, они должны были скрывать свои взгляды или, в лучшем случае, выражать их осторожно, в завуалирован-

ном виде. Они были вынуждены прибегать к различным уловкам – клевете или угрозам, для того чтобы добиться от своих парламентов и общественного мнения согласия на необходимые мероприятия. Если бы не было нас и если бы мы не вооружались, то фашисты давно развязали бы войну. Деятельность демократических парламентов в основном сводится к тому, чтобы портить жизнь ответственным деятелям, препятствовать им в проведении необходимых мероприятий или, по крайней мере, затруднять это проведение. Все достижения так называемого демократического парламентаризма и так называемой демократической свободы печати заключаются в том, что всякий, принимающий участие в общественной жизни, должен либо позволить постоянно обливать себя грязью, либо посвятить свою жизнь опровержению необоснованных оскорблений. Вместо продуктивной работы министры парламентарных государств тратят большую часть своего времени на то, чтобы отвечать на ненужные никому вопросы и доказывать абсурдность вздорных возражений”.

Должен признаться, что эту картину я считаю большим, нежели простой карикатурой. В продолжение большей части моей жизни мне самому эти демократические свободы были чрезвычайно дороги, и свобода слова и печати была очень близка моему сердцу писателя. Известное изречение Анатоля Франса – демократия заключается в том, что и богатый и бедный одинаково имеют право ночевать под мостами Сены, – казалось мне красивым, но до смешного преувеличенным афоризмом. Первый удар эти мои демократические убеждения получили во время войны, когда я должен был признать, что, несмотря на всю демократию, война продолжается против воли большинства населения. В послевоенные годы я стал все отчетливее замечать пробелы и неувязки обычных демократических конституций, и ныне я склоняюсь к мнению, что буржуазные свободы в большей или меньшей мере являются приманкой, при помощи которой меньшинство проводит свою волю...

Это понимание свободы является для советского гражданина аксиомой. Свобода, позволяющая публично ругать правительство, может быть хороша, но еще лучшей он считает ту свободу, которая освобождает его от угрозы безработицы, от нищеты в старости и от заботы о судьбе своих детей.

Эти мысли очень популярно изложены Сталиным в речи на совещании стахановцев. “...К сожалению, – сказал он, – одной лишь свободы далеко еще не достаточно. Если не хватает хлеба, не хватает масла и жиров, не хватает мануфактуры, жилища плохие, то на одной лишь свободе далеко не уедешь. Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свободой. Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы дополнялись благами материальными...”

Однако насмешки, ворчание и злопыхательства являются для многих столь излюбленным занятием, что они считают жизнь без них невозможной. На всех языках для этого занятия имеется множество различных слов, и я себе представляю, что некоторым ограничение свободы ругаться кажется чистым деспотизмом. Поэтому-то многие и называют Советский Союз противоположностью демократии и даже доходят до того, что утверждают, будто между Союзом и фашистской диктатурой не существует разницы. Жалкие слепцы. В основном диктатура Советов ограничивается запрещением распространять словесно-письменным действием два взгляда: во-первых, что построение социализма в Союзе невозможно без мировой революции и, во-вторых, что Советский Союз должен проиграть грядущую войну. Тот же, кто, исходя из этих двух запретов, выводит заключение о полной однородности Советского Союза с фашистскими диктатурами, упускает, как мне кажется, из виду одно существенное различие, а именно: что Советский Союз запрещает агитировать за утверждение, что дважды два – пять, в то время как фашистские диктатуры запрещают доказывать, что дважды два – четыре.

Поклонение и безмерный культ, которыми население окружает Сталина, – это первое, что бросается в глаза иностранцу, путешествующему по Советскому Союзу. На всех углах и перекрестках, в подходящих и неподходящих местах видны гигантские бюсты и портреты Сталина. Речи, которые приходится слышать, не только политические речи, но даже и доклады на любые научные и художественные темы, пересыпаны прославлениями Сталина, и часто это обожествление принимает безвкусные формы.

Вот несколько примеров. Если на строительной выставке, которой я восхищался выше, в различных залах установлены бюсты Сталина, то это имеет



свой смысл, так как Сталин является одним из инициаторов проекта полной реконструкции Москвы. Но по меньшей мере непонятно, какое отношение имеет колоссальный некрасивый бюст Сталина к выставке картин Рембрандта, в остальном оформленной со вкусом. Я был также весьма озадачен, когда на одном докладе о технике советской драмы я услышал, как докладчик, проявлявший до сих пор чувство меры, внезапно разразился восторженным гимном в честь заслуг Сталина.

Не подлежит никакому сомнению, что это чрезмерное поклонение в огромном большинстве случаев искренне. Люди чувствуют потребность выразить свою благодарность, свое беспредельное восхищение. Они действительно думают, что всем, что они имеют и чем они являются, они обязаны Сталину. И хотя это обожествление Сталина может показаться прибывшему с Запада странным, а порой и отталкивающим, все же я нигде не находил признаков, указывающих на искусственность этого чувства. Оно выросло органически, вместе с успехами экономического строительства. Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь, кому он мог бы выражать благодарность за несомненное улучшение своих жизненных условий, и для этой цели он избирает не отвлеченное понятие, не абстрактный “коммунизм”, а конкретного человека – Сталина. Русский склонен к преувеличениям, его речь и жесты выражают в некоторой мере превосходную степень, и он радуется, когда он может излить обуревающие его чувства. Безмерное почитание, следовательно, относится не к человеку Сталину – оно относится к представителю явно успешного хозяйственного строительства. Народ говорит: Сталин, разумея под этим именем растущее процветание, растущее образование. Народ говорит: мы любим Сталина, и это является самым непосредственным, самым естественным выражением его доверия к экономическому положению, к социализму, к режиму.

К тому же Сталин действительно является плотью от плоти народа. Он сын деревенского сапожника и до сих пор сохранил связь с рабочими и крестьянами. Он больше, чем любой из известных мне государственных деятелей, говорит языком народа. Сталин определенно не является великим оратором. Он говорит медлительно, без всякого блеска, слегка глуховатым голосом, затруднительно. Он медленно развивает свои аргументы, апеллирующие к здравому смыслу людей, постигающих не быстро, но основательно. Но главное у Сталина – это юмор, обстоятельный, хитрый, спокойный, порой беспощадный крестьянский юмор. Он охотно приводит в своих речах юмористические строки из популярных русских писателей, он выбирает смешное и дает ему практическое применение, некоторые места его речей напоминают рассказы из старинных календарей. Когда Сталин говорит со своей лукавой приятной усмешкой, со своим характерным жестом указательного пальца, он не создает, как другие ораторы, разрыва между собой и аудиторией, он не возвышается весьма эффектно на подмостках, в то время как остальные сидят внизу, – нет, он очень быстро устанавливает связь, интимность между собой и своими слушателями. Они сделаны из того же материала, что и он; им понятны его доводы; они вместе с ним весело смеются над простыми историями.

Я не могу не привести примера, подтверждающего народный характер сталинского красноречия. Он говорит, например, о конституции и насмехается над официозом “Дейтше Корреспондентц”, который заявляет, что Конституция Советского Союза не может быть признана действительной конституцией, так как Советский Союз представляет не что иное, как географическое понятие.

“Что можно сказать, – спрашивает Сталин, – о таких, с позволения сказать, “критиках”?” И он рассказывает весело настроенному собранию: “В одной из своих сказок-рассказов великий русский писатель Щедрин дает тип бюрократа-самодура, очень ограниченного и тупого, но до крайности самоуверенного и ретивого. После того как этот бюрократ навел во “вверенной” ему области “порядок и тишину”, истребив тысячи жителей и спалив десятки городов, он оглянулся кругом и заметил на горизонте Америку, страну, конечно, малоизвестную, где имеются, оказывается, какие-то свободы, смущающие народ, и где государством управляют иными методами. Бюрократ заметил Америку и возмутился: что это за страна, откуда она взялась, на каком таком основании она существует? Конечно, ее случайно открыли несколько

веков тому назад, но разве нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? И, сказав это, наложил резолюцию: “Закреть снова Америку”.

“Мне кажется, — объясняет Сталин собранию, — что господа из “Дейтше Дипломатиш-Политише Корреспонденц” как две капли воды похожи на щедринского бюрократа. Этим господам СССР давно уже намозолил глаза. Девятнадцать лет стоит СССР, как маяк, заражая духом освобождения рабочий класс всего мира и вызывая бешенство у врагов рабочего класса. И он, этот СССР, оказывается, не только просто существует, но даже растет, и не только растет, но даже преуспевает, и не только преуспевает, но даже сочиняет проект новой Конституции, проект, возбуждающий умы, вселяющий новые надежды угнетенным классам. Как же после этого не возмущаться господам из германского официоза? Что это за страна, вопят они, на каком таком основании она существует, и если ее открыли в октябре 1917 года, то почему нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? И сказав это, постановили: закрыть снова СССР, объявить во всеуслышание, что СССР как государство не существует, что СССР есть не что иное, как простое географическое понятие!

Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю свою тупость, все же нашел в себе элементы понимания реального, сказав тут же про себя: “Но, кажется, сие от меня не зависит”. Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что “закреть” на бумаге то или иное государство они, конечно, могут, но если говорить серьезно, то “сие от них не зависит”...

Так говорит Сталин со своим народом. Как видите, его речи очень обстоятельны и несколько примитивны, но в Москве нужно говорить очень громко и отчетливо, если хотят, чтобы это было понятно даже во Владивостоке. Поэтому Сталин говорит громко и отчетливо, и каждый понимает его слова, каждый радуется им, и его речи создают чувство близости между народом, который их слушает, и человеком, который их произносит.

Впрочем, Сталин, в противоположность другим стоящим у власти лицам, исключительно скромен. Он не присвоил себе никакого громкого титула и называет себя просто Секретарем Центрального Комитета. В общественных местах он показывается только тогда, когда это крайне необходимо; так, например, он не присутствовал на большой демонстрации, которую проводила Москва на Красной площади, празднуя принятие Конституции, которую народ назвал его именем. Очень немногое из его личной жизни становится известным общественности. О нем рассказывают сотни анекдотов, рисующих, как близко он принимает к сердцу судьбу каждого отдельного человека, например, он послал в Центральную Азию аэроплан с лекарствами, чтобы спасти умирающего ребенка, которого иначе не удалось бы спасти? или как он буквально насильно заставил одного чересчур скромного писателя, не заботящегося о себе, переехать в приличную, просторную квартиру. Но подобные анекдоты передаются только из уст в уста и лишь в исключительных случаях появляются в печати. О частной жизни Сталина, о его семье, привычках почти ничего точно неизвестно. Он не позволяет публично праздновать день своего рождения. Когда его приветствуют в публичных местах, он всегда стремится подчеркнуть, что эти приветствия относятся исключительно к проводимой им политике, а не лично к нему. Когда, например, съезд постановил принять предложенную и окончательно отредактированную Сталиным Конституцию и устроил ему бурную овацию, он аплодировал вместе со всеми, чтобы показать, что он принимает эту овацию не как признательность ему, а как признательность его политике.

Сталину, очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим смеется. Рассказывают, что на обеде в интимном дружеском кругу в первый день нового года Сталин поднял свой стакан и сказал: “Я пью за здоровье несравненного вождя народов великого, гениального товарища Сталина. Вот, друзья мои, это последний тост, который в этом году будет предложен здесь за меня”.

Сталин выделяется из всех мне известных людей, стоящих у власти, своей простотой. Я говорил с ним откровенно о безвкусном и не знающем меры культе его личности, и он мне так же откровенно отвечал. Ему жаль, сказал он, времени, которое он должен тратить на представительство. Это вполне вероятно: Сталин — мне много об этом рассказывали и даже документально это подтверждали — обладает огромной работоспособностью и вникает сам

в каждую мелочь, так что у него действительно не остается времени на излишние церемонии. Из сотен приветственных телеграмм, приходящих на его имя, он отвечает не больше чем на одну. Он чрезвычайно прямолинеен, почти до невежливости, и не возражает против такой же прямолинейности своего собеседника.

На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами, — портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстраций. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты — да еще какие — в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. “Подхалимствующий дурак, — сердито сказал Сталин, — приносит больше вреда, чем сотня врагов”. Всю эту шумиху он терпит, заявил он, только потому, что он знает, какую наивную радость доставляет праздничная суматоха ее устроителям, и знает, что все это относится к нему не как к отдельному лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение социалистического хозяйства в Советском Союзе важнее, чем перманентная революция...

#### Из главы IV

### НАЦИОНАЛИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

Когда в 1924 году Сталин заявил о том, что русский крестьянин несет в себе возможность социализма, то есть, другими словами, мог бы, сохраняя свою национальность, стать интернациональным, он был высмеян своими противниками, объявившими его утопистом. В настоящее время практика доказала правильность сталинской теории: крестьяне — от Белоруссии до Дальнего Востока — приобщены к социализму. Любовь советских людей к своей родине не уступает любви фашистов к их родине; но тут любовь к советской родине, а это означает, что любовь эта зиждется не только на мистическом подсознании, но что она скреплена прочным цементом разума. Великий практический психолог Сталин совершил чудо, заставив служить целям интернационального социализма патриотизм множества народов. Ныне это стало действительностью: жители отдаленных сибирских поселений воспринимают нападение Германии и Италии на Испанскую республику с таким возмущением, как будто это касается их непосредственно. В каждом доме Советского Союза висит карта Испании, и я сам видел, как в районах вокруг Москвы крестьяне оставляли работу и отказывались от еды, чтобы успеть на радиопередачу о событиях в Испании. Советскому Союзу удалось пробудить даже у сельского населения, при всем его национализме, чувство международной солидарности.

Сталинская формула — культура, “национальная по форме, интернациональная (у Сталина — “социалистическая”. — **Ред.**) по содержанию” — в настоящее время проведена в жизнь. Социализм проявляется в Союзе на многих языках и в разнообразных формах, национальных по выражению и интернациональных по существу. Национальные особенности автономных республик — язык, искусство, фольклор всякого вида бережно и с любовью охраняются, народам, понимавшим до сих пор только устное слово, дали письменность. Везде созданы национальные музеи, научные институты для изучения национальных традиций, национальные оперные и драматические театры, стоящие на высоком уровне. Я видел восторг, с которым москвичи — люди, искушенные в театральных зрелищах, принимали грузинскую оперу, которая шла в их Большом театре...

Я сталкивался в Советском Союзе со многими евреями из различных кругов и, интересуясь положением еврейского вопроса, подробно беседовал с

ними. Исключительные темпы производственного процесса требуют людей, рук, ума; евреи охотно включились в этот процесс, и это благоприятствовало их ассимилированию, которое в Советском Союзе шагнуло гораздо дальше, чем где бы то ни было. Случалось, что евреи говорили мне: “Я уже многие годы не думал о том, что я еврей; только ваши вопросы снова напоминают мне об этом”. Единодушные, с которым евреи, встречавшиеся мне, подчеркивали свое полное согласие с новым государственным строем, было трогательно. Раньше их бойкотировали, преследовали; они не имели профессии, жизнь их не имела смысла, — теперь они крестьяне, рабочие, интеллигенты, солдаты, полные благодарности новому порядку...

Страсть, с которой евреи, отрезанные в продолжение сотен лет от образования и науки, устремились теперь в эти новые области, тоже очень велика. Мне говорили, что в еврейских селах ощущается заметный недостаток в людях в возрасте приблизительно от пятнадцати до тридцати лет: вся еврейская молодежь уходит в города учиться.

Национализм советских евреев отличается некоторого рода трезвым воодушевлением. Как неромантично, практично и вместе с тем отважно это воодушевление рисуют следующие два факта. Первый это то, что своим языком советский еврей признает не насыщенный традициями, благородный, но и не очень целесообразный древнеиудейский язык, а выросший из обыденной жизни, составленный из разнородных элементов еврейский, который, по меньшей мере, пятью миллионами людей признан разговорным языком. А второй факт тот, что страна, предоставленная евреям для устройства их национального государства, страна, в которой они поселились, отдалена, и жизнь в ней трудна, но она таит в себе неограниченные возможности.

К еврейскому языку, как и ко всем национальным языкам в Советском Союзе, относятся с любовью. Существуют еврейские школы, еврейские газеты, первоклассная еврейская поэзия, для развития языка созываются съезды; еврейские театры пользуются большим успехом. Я видел в Московском государственном еврейском театре превосходную постановку “Король Лир” с крупным артистом Михоэлсом в главной роли и с замечательным шутком Зускиным, — постановку, блестяще инсценированную, с чудесными декорациями.

## **Из главы V**

### **МИР И ВОЙНА**

#### **Начнется ли завтра война?**

Повсюду на земле много говорят о приближающейся войне, и вопрос: “Когда, думаете вы, начнется война?” является излюбленной темой разговора. Но, несмотря на то, что каждый заигрывает с мыслью о войне, на Западе никто, за исключением жителей фашистских стран, не принимает ее по-настоящему, всерьез, подобно тому как люди живут и строят планы, не принимая серьезно в расчет собственную смерть, хотя и не сомневаются в ее неизбежности. Однако в Советском Союзе каждый на все сто процентов уверен в предстоящей в ближайшем будущем войне. Уже одно растущее с каждым днем процветание нашей страны, говорят советские люди, является таким очевидным опровержением всех фашистских теорий, что фашистские государства должны, если они хотят сами жить, нас уничтожить. Как ремесленники, жившие продуктами труда своих рук и примитивных инструментов, почувствовав себя под угрозой машин, объединились и напали на эти машины, так и фашистские государства в конце концов нападут на нас.

Каждый шестой рубль общих поступлений в Союзе отчисляется на мероприятия по обороне против фашистов. Это тяжелая жертва. Советский гражданин знает, что все неудобства, которые еще по сей день делают жизнь в Союзе труднее, чем на Западе, были бы давно устранены, если бы только можно было распорядиться этим шестым рублем. Всякий мог бы лучше одеться, лучше жить. Но советские люди знают также, что у границ их злобные глупцы с нетерпением выжидают момента для нападения на них и что эти границы они должны действительно охранять. Поэтому над строительством своего социалистического хозяйства они трудятся так, как трудились евреи над по-

стройкой своего второго храма – с лопаткой каменщика в одной руке и с мечом – в другой. О войне говорят не как о событии далекого будущего, а как о факте, предстоящем в ближайшем будущем. Войну рассматривают как жестокую необходимость, ждут ее с досадой, но с уверенностью в себе, как болезненную операцию, которую нужно перетерпеть и благоприятный исход которой не подлежит сомнению.

Вместе с тем, разумеется, делается все, чтобы как можно дольше задержать в мире взрыв войны или даже, вопреки всякой вероятности, избежать ее. Союз кровно заинтересован в возможно более длительном сохранении мира. Он как раз начал обставлять свой дом, комнаты становятся уютнее, он сам становится с каждым днем богаче и сильнее. Таким образом, он испытывает потребность полюбоваться своим домом, когда он будет окончательно закончен, не вступая в драку с злым соседом; он знает также, что чем дольше ему удастся оттянуть войну, тем сильнее он будет сам и тем меньше жертв будет ему стоить его конечная победа. Но так как считают, что эту войну остановить ничто не может и что она завтра уже будет действительностью, то к ней готовятся. Именно этой готовностью к войне объясняется, как было сказано, многое из того, что иначе осталось бы непонятным. Я уже говорил о военных пьесах и военных фильмах, которые господствуют в репертуаре, о бесчисленных книгах и произведениях, воспевающих героизм партизан в Гражданской войне и во время интервенции. Едва ли на фронте за четыре года мировой войны можно было увидеть столько убитых, сражений и боев, сколько я видел на сценах и экранах за десять недель моего пребывания в Москве.

Отчетливее всего эта готовность к войне проявляется в положении, которое занимает Красная Армия. Она является народным войском в особо глубоком смысле этого слова; если вообще какое-нибудь войско в мире может называться “Наша Армия”, то это именно она. Нужно слышать собственными ушами, с какой любовью советские люди говорят об этой “Нашей Армии”. Между армией и населением существует тесный контакт. Не только командиры в огромном большинстве вышли из крестьянских и пролетарских слоев, так что мышление вождей, солдат и населения совершенно одинаково, но и вообще гражданское население во всех отношениях тесно связано с армией. Солдаты чувствуют себя в рабочих клубах, как дома, отдельные воинские части шефствуют над организациями культурного и спортивного типа, каждое звено армии в свою очередь дружески связано с отдельной областью, с отдельным городским районом, с отдельной рабочей или крестьянской организацией. Во время больших демонстраций армия демонстрирует не отдельно, она идет вместе с гражданским населением. . .

Бросается в глаза разносторонность интересов военных, особенно их повышенный интерес к литературе. Писатель Лев Троцкий был одним из организаторов Красной Армии, и писатели еще поныне играют в ней большую роль. Я знаю нескольких генералов, которые занимают высокие посты одновременно и в Красной Армии, и в журналистике. Многие писатели принимали участие в империалистической и Гражданской войнах, некоторые и теперь еще занимают командные посты в армии, и почти все советские писатели интересуются военными вопросами. Один из руководителей армии, напоминающий, между прочим, прусского офицера лучшей старой школы, завоевал известность как лирический поэт; его стихи очень хорошо читаются и в немецком переводе, отредактированном им самим. С другой стороны, один русский писатель немало способствовал благоприятному ходу борьбы в Испании. Я не знаю другой страны, в которой так часто сочеталась бы писательская одаренность с военными способностями, громадное количество авторов и редакторов считают, что, возможно, уже завтра, вместо того чтобы продолжать диктовать рукопись, они будут командовать военными частями.

## Из главы VI

### СТАЛИН И ТРОЦКИЙ

В Советском Союзе, как было сказано выше, имеются люди, проявившие себя не только как борцы, но и как организаторы промышленности и сельского хозяйства. Иосиф Сталин представляется мне именно таким человеком.

У него боевое, революционное прошлое, он победоносно провел оборону города Царицына, ныне носящего его имя; по его докладу Ленину осенью 1918 года – доклад в семьдесят строк – в общий военный план были внесены коренные изменения. Однако творчество Сталина, организатора социалистического хозяйства, превосходит даже его заслуги борца.

### Автопортрет Троцкого

Рисую свой собственный портрет – прекрасно написанную автобиографию, – Лев Троцкий стремится доказать, что и он, Троцкий, является тоже талантливим человеком, великим борцом и великим вождем строительства. Но мне кажется, что как раз эта попытка, предпринятая лучшим адвокатом Троцкого – им самим, только подтверждает, что его заслуги, в лучшем случае, ограничиваются его деятельностью в период войны.

Автобиография Троцкого, несомненно, является произведением превосходного писателя и, возможно, даже человека с трагической судьбой. Но образа крупного государственного деятеля она не отражает. Для этого, как мне кажется, оригиналу недостает личного превосходства, чувства меры и правильного взгляда на действительность. Беспрецедентное высокомерие заставляет его постоянно пренебрегать границами возможного, и эта безмерность, столь положительная для писателя, необычайно вредит концепции государственного деятеля. Логика Троцкого парит, мне кажется, в воздухе; она не основывается на знании человеческой сущности и человеческих возможностей, которое единственно обеспечивает прочный политический успех. Книга Троцкого полна ненависти, субъективна от первой до последней строки, страстно несправедлива: в ней неизменно мешается правда с вымыслом. Это придает книге много прелести, однако такого рода умонастроение вряд ли может подсказать политику правильное решение.

Мне кажется, что даже одной мелкой детали достаточно, чтобы ярко осветить превосходство Сталина над Троцким. Сталин дал указание поместить в большом официальном издании “Истории Гражданской войны”, редактируемом Горьким, портрет Троцкого. Между тем Троцкий в своей книге злобно отвергает все заслуги Сталина, оборачивая его качества в их противоположность; и книга его полна ненависти и язвительной насмешки по отношению к Сталину.

Конечно, побежденному человеку трудно оставаться объективным. Это понимает и сам Троцкий, выразивший это в прекрасных словах: “Я не привык, – заключает он в предисловии к своей книге, – рассматривать исторические перспективы под углом зрения личной судьбы. Познать закономерности событий и найти в этой закономерности свое место – вот важнейшая обязанность революционера. И она доставляет высшее личное удовлетворение человеку, который не связывает своей задачи сегодняшним днем”.

Никто, я думаю, не смог бы более определенно указать на опасность, перед которой оказался Троцкий после своего падения и которой подвергается каждый побежденный, а именно: опасность “рассматривать исторические перспективы под углом зрения личной судьбы”. Троцкий сознавал эту опасность. Он понимал, перед свершением какой ошибки он стоит. Он видел эту ошибку, которой суждено было его заманить. Видел, решил ее не делать – и сделал. Зная, что лучше, он выбрал худшее.

Троцкий представляется мне типичным только революционером; очень полезный во времена патетической борьбы, он ни к чему не пригоден там, где требуется спокойная, упорная, планомерная работа вместо патетических вспышек. Мир и люди после окончания героической эпохи революции стали представляться Троцкому в искаженном виде. Он стал неправильно воспринимать вещи. В то время как Ленин давно приспособил свои взгляды к действительности, упрямый Троцкий продолжал крепко держаться принципов, оправдавших себя в героико-патетическую эпоху, но неприменимых при выполнении задач, выдвинутых потребностями текущего дня. Троцкий умеет – и это видно из его книги – в момент большого напряжения увлечь за собой массы. Он, вероятно, был способен в патетическую минуту зажечь массы порывом энтузиазма. Но он был неспособен ввести этот порыв в русло, “канализировать” его, обратив на пользу строительства великого государства. Это умеет Сталин.

Троцкий – прирожденный писатель. Он с любовью рассказывает о своей литературной деятельности, и я ему верю на слово, когда он говорит, что “хорошо написанная книга, в которой встречаешь новые мысли и хорошее перо, при помощи которого можно поделиться собственными мыслями с другими, были и являются для меня наиболее ценными и близкими благами культуры”. Трагедия Троцкого заключается в том, что его не удовлетворяла перспектива стать большим писателем. Повышенная требовательность сделала из него сварливого доктринера, стремившегося принести и принесшего несчастья, и это заставило огромные массы забыть его заслуги.

Я хорошо знаю этот тип писателей и революционеров, хотя и в несколько уменьшенном масштабе. Некоторые руководители германской революции, как Курт Эйснер и Густав Ландауер, имели, правда в миниатюре, немало общего с Троцким. Упорная приверженность к догме, неумение приспособиться к изменившимся условиям, короче говоря, отсутствие практически-политической психологии сделало этих теоретиков и доктринеров только на очень короткое время пригодными к политическим действиям. Большую часть своей жизни они были хорошими писателями, а не политиками. Они не сумели найти пути к народу. Они слишком слабо разбирались в психологии народа и массы. Они соприкасались с массами, но массы не шли к ним.

Не подлежит сомнению, что расхождения во взглядах по решающим вопросам являются причиной большого конфликта между Троцким и Сталиным, и эти расхождения вытекают из глубоких противоречий. Различие характеров этих людей являлось причиной того, что они приходили к противоположным выводам в важнейших вопросах русской революции – в национальном вопросе, в вопросе о роли крестьянства и возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталин утверждал, что полное осуществление социализма возможно и без мировой революции и что при соблюдении национальных интересов отдельных советских народов социализм может быть построен в одной, отдельно взятой стране; он считал, что русский крестьянин способен построить социализм. Троцкий это оспаривал. Он утверждал, что мировая революция является необходимой предпосылкой для построения социализма. Он упорно держался марксистского учения об абсолютном интернационализме, защищал тактику перманентной революции и, приводя множество логических доводов, настаивал на правильности марксистского положения о невозможности построения социализма в одной стране.

Не позднее 1935 года весь мир признал, что социализм в одной стране построен и что, более того, эта страна вооружена и готова к защите от любого нападения.

Что же мог сделать Троцкий? Он мог молчать. Он мог признать себя побежденным и заявить о своей ошибке. Он мог примириться со Сталиным. Но он этого не сделал. Он не мог решиться на это. Человек, который раньше видел то, чего не видели другие, теперь не видел того, что было видно каждому ребенку. Питание было налажено, машины работали, сырье добывалось в невиданных ранее размерах, страна была электрифицирована, механизирована. Троцкий не хотел этого признать. Он заявил, что именно быстрый подъем и лихорадочные темпы строительства обуславливают непрочность этого строительства. Советский Союз – “государство Сталина”, как он его называл, – должен рано или поздно потерпеть крах и без постороннего вмешательства, и он, несомненно, потерпит крах в случае нападения на него фашистских держав. И Троцкий раздражался вспышками беспредельной ненависти к человеку, под знаменем которого осуществлялось строительство. Попробуем теперь представить себе Сталина.

Блеск Троцкого, не всегда неподдельный, в продолжение многих лет мешал заметить действительные заслуги Сталина. Но наступило время, когда идеи только борца Троцкого начали становиться ошибочными и подгнивать; первым это заметил и высказал Сталин. Уже в декабре 1924 года Сталину стало окончательно ясно, что, в противоположность прежней теории, построение полного социалистического общества в одной, отдельно взятой стране возможно. Уже тогда он последовательно, более отчетливо и в более острых формулировках, чем Ленин, указал путь к этому построению – усиленная индустриализация страны и объединение крестьян в артели. Он в ясных словах провозгласил то, что до сих пор оспаривалось, а именно: при правильной политике партии решающая часть русского крестьянства может быть втянута

в социалистическое общество, и он обосновал это утверждение простыми, убедительными и неопровержимыми аргументами.

“Боги на стороне победителей. Катон на стороне побежденных”. Троцкий не хотел признать себя побежденным. Он выступал с пламенными речами, писал блестящие статьи, брошюры, книги, называя в них сталинскую действительность иллюзией, потому что она не укладывалась в его теории. Троцкий мешал. Съезд партии высказался против него – он был сослан, а затем изгнан из страны.

Дело Сталина процветало, добыча угля росла, росла добыча железа и руды, сооружались электростанции, тяжелая промышленность догоняла промышленность других стран, строились города; реальная заработная плата повышалась, мелкобуржуазные настроения крестьян были преодолены, их артели давали доходы, – все более возрастающей массой они устремлялись в колхозы. Если Ленин был Цезарем Советского Союза, то Сталин стал его Августом, его “умножателем” во всех отношениях. Сталинское строительство росло и крепло. Но Сталин должен был заметить, что все еще имелись люди, которые не хотели верить в это реальное, осязаемое дело, которые верили тезисам Троцкого больше, чем очевидным фактам.

Да, именно среди людей, другом которых был Сталин, которым он поручил ответственные посты, нашлись некоторые, поверившие больше в слово Троцкого, чем в дело Сталина. Они мешали этому делу, чинили ему препятствия, саботировали его. Они были привлечены к ответственности, их вина была установлена. Сталин простил их, назначил их снова на высокие посты.

Что должен был продумать и прочувствовать Сталин, узнав о том, что эти его товарищи и друзья, невзирая на явный успех его начинаний, все еще продолжали тянуться к его врагу Троцкому, тайно переписывались с ним и, стремясь вернуть своего старого вождя в СССР, старались нанести вред его – Сталина – делу.

Когда я увидел Сталина, процесс против первой группы троцкистов – против Зиновьева и Каменева – был закончен, обвиняемые были осуждены и расстреляны, и против второй группы троцкистов – Пятакова, Радека, Бухарина и Рыкова – было возбуждено дело; но никому еще не было известно в точности, какое обвинение им предъявляется и когда и против кого из них будет начат процесс. Вот в этот промежуток времени, между двумя процессами, я и увидел Сталина.

На портретах Сталин производит впечатление высокого, широкоплечего, представительного человека. В жизни он скорее небольшого роста, худощав; в просторной комнате Кремля, где я с ним встретился, он был как-то незаметен.

Сталин говорит медленно, тихим, немного глухим голосом. Он не любит диалогов с короткими, взволнованными вопросами, ответами, отступлениями. Он предпочитает им медленные обдуманые фразы. Говорит он очень отчетливо, иногда так, как если бы он диктовал. Во время разговора расхаживает взад и вперед по комнате, затем внезапно подходит к собеседнику и, вытянув по направлению к нему указательный палец своей красивой руки, объясняет, растолковывает или, формулируя свои обдуманые фразы, рисует цветным карандашом узоры на листе бумаги.

Тема моего разговора со Сталиным не была заранее согласована. Никакой темы я и не подготавливал, я ждал, что она возникнет сама собой под впечатлением человека и момента. Втайне я боялся, что наш разговор превратится в более или менее официальную, приглаженную беседу, подобную тем, которые Сталин вел два-три раза с западными писателями. Вначале действительно беседа направилась по такому руслу. Мы говорили о функции писателя в социалистическом обществе, о революционном воздействии, которое иногда оказывают даже реакционные писатели, как, например, Гоголь, о классовой принадлежности или бесклассовости интеллигенции, о свободе слова и литературы в Советском Союзе. Вначале Сталин говорил осторожно, общими фразами. Однако постепенно он изменил свое отношение, и вскоре я почувствовал, что с этим человеком я могу говорить откровенно. Я говорил откровенно, и он отвечал мне тем же.

Сталин говорит неприкрашенно и умеет даже сложные мысли выражать просто. Порой он говорит слишком просто, как человек, который привык так формулировать свои мысли, чтобы они стали понятны от Москвы до Владиво-



стока. Возможно, он не обладает остроумием, но ему, несомненно, свойственен юмор; иногда его юмор становится опасным. Он посмеивается время от времени глуховатым, лукавым смешком. Он чувствует себя весьма свободно во многих областях и цитирует по памяти, не подготовившись, имена, даты, факты всегда точно.

Мы говорили со Сталиным о свободе печати, о демократии и, как я писал выше, об обожествлении его личности. В начале беседы он говорил общими фразами и прибегал к известным шаблонным оборотам партийного лексикона. Позднее я перестал чувствовать в нем партийного руководителя. Он предстал передо мной как индивидуальность. Не всегда соглашаясь со мной, он все время оставался глубоким, умным, вдумчивым.

Он взволновался, когда мы заговорили о процессах троцкистов. Рассказал подробно об обвинении, предъявленном Пятакову и Радеку, материал которого в то время был еще не известен. Он говорил о панике, в которую приводит фашистская опасность людей, не умеющих смотреть вперед. Я еще раз упомянул о дурном впечатлении, которое произвели за границей даже на людей, расположенных к СССР, слишком простые приемы в процессе Зиновьева. Сталин немного посмеялся над теми, кто, прежде чем согласиться поверить в заговор, требует предъявления большого количества письменных документов; опытные заговорщики, заметил он, редко имеют привычку держать свои документы в открытом месте. Потом он заговорил о Радеке — писателе, наиболее популярной личности среди участников второго троцкистского процесса, — говорил он с горечью и взволнованно; рассказывал о своем дружеском отношении к этому человеку. “Вы, евреи, — обратился он ко мне, — создали бессмертную легенду, легенду о Иуде”. Как странно мне было слышать от этого обычно такого спокойного, логически мыслящего человека эти простые патетические слова. Он рассказал о длинном письме, которое написал ему Радек и в котором тот заверял в своей невиновности, приводя множество лживых доводов; однако на другой день, под давлением свидетельских показаний и улик, Радек сознался.

Ненавидит ли Иосиф Сталин Льва Троцкого как человека? Он, вероятно, должен его ненавидеть. Я уже указывал на то, что противоположность их характеров в такой же мере разделяет их, как и противоположность во взглядах. Едва ли можно представить себе более резкие противоположности, чем красноречивый Троцкий с быстрыми внезапными идеями, с одной стороны, и простой, всегда скрытный, серьезный Сталин, медленно и упорно работающий над своими идеями, с другой. “Внезапная идея — это не мысль, — сказано у австрийского писателя Грильпарцера. — Мысль знает свои границы. Внезапные идеи пренебрегают ими, “осуществляясь, не сходя с места”. У Льва Троцкого, писателя, — молниеносные, часто неверные внезапные идеи; у Иосифа Сталина — медленные, тщательно продуманные, до основания верные мысли. Троцкий — ослепительное единичное явление. Сталин — поднявшийся до гениальности тип русского крестьянина и рабочего, которому победа обеспечена, так как в нем сочетается сила обоих классов. Троцкий — быстро гаснущая ракета, Сталин — огонь, долго пылающий и согревающий.

Драматурга, который пожелал бы изобразить в своем произведении две столь противоположные индивидуальности, обвинили бы в надуманности и погоне за эффектами. Троцкий ловок в речи и жестах, он без труда изъясняется на многих языках, он высокомерен, красочен, остроумен. Сталин скорее монументален; упорной работой в духовной семинарии он завоевывал свое образование. Он не ловок, но он близко знает нужды своих крестьян и рабочих, он сам принадлежит к ним, и он никогда не был вынужден, как Троцкий, искать дорогу к ним, находясь на чужом участке. Разве эта красочность, подвижность, двуличие, надменность, ловкость в Троцком не должны быть Сталину столь же противны, как Троцкому твердость и угловатость Сталина?

Сталин видит перед собой грандиознейшую задачу, которая требует отдачи всех сил даже исключительно сильного человека; а он вынужден отдавать очень значительную часть своих сил на ликвидацию вредных последствий блестящих и опасных причуд Троцкого. “Небольшевистское прошлое Троцкого — это не случайность”, — говорится в завещании Ленина. Сталин, несомненно, постоянно помнит об этом, и он видит в Троцком человека, который благодаря своей большой гибкости может в любой момент, уверенный в правильности своих убеждений, повернуть обратно к своему небольшевист-

скому прошлому. Да, Сталин должен ненавидеть Троцкого, во-первых, потому, что всем своим существом тот не подходит Сталину, а во-вторых, потому, что Троцкий всеми своими речами, писаниями, действиями, даже просто своим существованием подвергает опасности его – Сталина – дело.

Но отношения Сталина и Троцкого друг к другу не исчерпываются вопросами их соперничества, ненависти, различия характеров и взглядов. Великий организатор Сталин, понявший, что даже русского крестьянина можно привести к социализму, он, этот великий математик и психолог, пытается использовать для своих целей своих противников, способностей которых он никоим образом не недооценивает. Он заведомо окружил себя многими людьми, близкими по духу Троцкому. Его считают беспощадным, а он в продолжение многих лет борется за то, чтобы привлечь на свою сторону способных троцкистов, вместо того чтобы их уничтожить, и в упорных стараниях, с которыми он пытается использовать их в интересах своего дела, есть что-то трогательное.

## Из главы VII

### ЯСНОЕ И ТАЙНОЕ В ПРОЦЕССАХ ТРОЦКИСТОВ

С другой стороны, тот же Сталин решил, в конце концов, вторично привлечь своих противников-троцкистов к суду, обвинив их в государственной измене, шпионаже, вредительстве и другой подрывной деятельности, а также в подготовке террористических актов. В процессах, которые своей “жестокостью и произволом” возбудили против Советского Союза мир, противники Сталина, троцкисты, были окончательно разбиты. Они были осуждены и расстреляны.

Объяснять эти процессы – Зиновьева и Радека – стремлением Сталина к господству и жадной мести было бы просто нелепо. Иосиф Сталин, осуществивший, несмотря на сопротивление всего мира, такую грандиозную задачу, как экономическое строительство Советского Союза, марксист Сталин не станет, руководствуясь личными мотивами, как какой-то герой из классных сочинений гимназистов, вредить внешней политике своей страны и тем самым серьезному участку своей работы.

Некоторые из моих друзей, люди вообще довольно разумные, называют эти процессы от начала до конца трагикомичными, варварскими, не заслуживающими доверия, чудовищными как по содержанию, так и по форме. Целый ряд людей, принадлежавших ранее к друзьям Советского Союза, стали после этих процессов его противниками. Многих, видевших в общественном строе Союза идеал социалистической гуманности, этот процесс просто поставил в тупик, им казалось, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир.

И мне тоже, до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе Зиновьева, казались не заслуживающими доверия. Мне казалось, что истерические признания обвиняемых добываются какими-то таинственными путями. Весь процесс представлялся мне какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством.

Но когда я присутствовал в Москве на втором процессе, когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда.

Я взял протоколы процесса, вспомнил все, что я видел собственными глазами и слышал собственными ушами, и еще раз взвесил все обстоятельства, говорившие за и против достоверности обвинения.

В основном процессы были направлены прежде всего против самой крупной фигуры – отсутствовавшего обвиняемого Троцкого. Главным возражением против процесса являлась мнимая недостоверность предъявленного Троцкому обвинения. “Троцкий, – возмущались противники, – один из основателей Советского государства, друг Ленина, сам давал директивы препятствовать строительству государства, одним из основателей которого он был, стремился разжечь войну против Союза и подготовить его поражение в этой войне. Разве это вероятно? Разве это мыслимо?”

После тщательной проверки обвинений оказалось, что поведение, приписываемое Троцкому обвинением, не только не невероятно, но даже является единственно возможным для него поведением, соответствующим его внутреннему состоянию.

Нужно хорошо себе представить этого человека, приговоренного к бездействию, вынужденного празднично наблюдать за тем, как грандиозный эксперимент, начатый им вместе с Лениным, превращается в некоторого рода гигантский мелкобуржуазный шреберовский сад [Шребер (1808–1861) – врач, основатель “Шреберовских обществ”, имевших целью воспитание юношества. – **Ред.**]. Ведь ему, который хотел пропитать социализмом весь земной шар, “государство Сталина” казалось – так он говорил, так писал – пошлой карикатурой на то, что первоначально ему представлялось. К этому присоединялась глубокая личная неприязнь к Сталину, соглашателю, который ему, творцу плана, постоянно мешал и, в конце концов, изгнал его. Троцкий бесчисленное множество раз давал волю своей безграничной ненависти и презрению к Сталину. Почему, выражая это устно и в печати, он не мог выразить этого в действительности? Действительно ли это так “невероятно”, чтобы он, человек, считавший себя единственно настоящим вождем революции, не нашел все средства достаточно хорошими для свержения “ложного мессии”, занявшего с помощью хитрости его место? Мне это кажется вполне вероятным.

Мне кажется, далее, также вероятным, что если человек, ослепленный ненавистью, отказывался видеть признанное всеми успешное хозяйственное строительство Союза и мощь его армии, то такой человек перестал также замечать непригодность имеющихся у него средств и начал выбирать явно неверные пути. Троцкий отважен и безрассуден, он великий игрок. Вся жизнь его – это цепь авантур, рискованные предприятия очень часто удавались ему. Будучи всю свою жизнь оптимистом, Троцкий считал себя достаточно сильным, чтобы быть в состоянии использовать для осуществления своих планов дурное, а затем в нужный момент отбросить это дурное и обезвредить его. Если Алкивиад пошел к персам, то почему Троцкий не мог пойти к фашистам?

Русским патриотом Троцкий не был никогда. “Государство Сталина” было ему глубоко антипатично. Он хотел мировой революции. Если собрать все отзывы изгнанного Троцкого о Сталине и о его государстве воедино, то получится объемистый том, насыщенный ненавистью, яростью, иронией, презрением. Что же являлось за все эти годы изгнания и является и ныне главной целью Троцкого? Возвращение в страну любой ценой, возвращение к власти.

Кориолан Шекспира, придя к врагам Рима – вольскам, рассказывает о неверных друзьях, предавших его: “И пред лицом патрициев трусливых, – говорит он заклятому врагу Рима, – бессмысленными криками рабов из Рима изгнан я. Вот почему я здесь теперь – пред очагом твоим. Я здесь для мщенья. С врагом моим я за изгнание должен расплатиться”.

Так отвечает Шекспир на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.

Эмиль Людвиг сообщает о своей беседе с Троцким, состоявшейся вскоре после высылки Троцкого на Принцевы острова, около Стамбула. Эту беседу Эмиль Людвиг опубликовал в 1931 году в своей книге “Дары жизни”. То, что было высказано уже тогда, в 1931 году, Троцким, должно заставить задуматься всех, кто находит обвинения, предъявленные ему, нелепыми и абсурдными. “Его собственная партия, – сообщает Людвиг (я цитирую дословно. – **Л. Ф.**), – по словам Троцкого, рассеяна повсюду, и поэтому трудно поддается учету. “Когда же она сможет собраться?” – Когда для этого представится какой-либо новый случай, например война или новое вмешательство Европы, которая смогла бы почерпнуть смелость из слабости правительства. “Но в этом случае вас-то именно и не выпустят, даже если бы те захотели вас впустить”. Пауза – в ней чувствуется презрение. – О, тогда, по всей вероятности, пути найдутся. – Теперь улыбается даже госпожа Троцкая”. Так отвечает Троцкий на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.

Что же касается Пятакова, Сокольникова, Радека, представших перед судом во втором процессе, то по поводу их возражения были следующего порядка: невероятно, чтобы люди с их рангом и влиянием вели работу против государства, которому они были обязаны своим положением и постами, чтобы они пустились в то авантюрное предприятие, которое им ставит в вину обвинение.

Мне кажется неверным рассматривать этих людей только под углом зрения занимаемого ими положения и их влияния. Пятаков и Сокольников были не только крупными чиновниками, Радек был не только главным редактором “Известий” и одним из близких советников Сталина. Большинство этих обвиняемых были, в первую очередь, конспираторами, революционерами, всю свою жизнь они были страстными бунтовщиками и сторонниками переворота – в этом было их призвание. Все, чего они достигли, они достигли вопреки предсказаниям “разумных”, благодаря своему мужеству, оптимизму, любви к рискованным предприятиям. К тому же они верили в Троцкого, обладающего огромной силой внушения. Вместе со своим учителем они видели в “государстве Сталина” искаженный образ того, к чему они сами стремились, и свою высшую цель усматривали в том, чтобы внести в это искажение свои коррективы.

Не следует также забывать о личной заинтересованности обвиняемых в перевороте. Ни честолюбие, ни жажда власти у этих людей не были удовлетворены. Они занимали высокие должности, но никто из них не занимал ни одного из тех высших постов, на которые, по их мнению, они имели право, никто из них, например, не входил в состав “Политического бюро”. Правда, они опять вошли в милость, но в свое время их судили как троцкистов, и у них не было больше никаких шансов выдвинуться в первые ряды. Они были в некотором смысле разжалованы, и “никто не может быть опаснее офицера, с которого сорвали погоны”, говорит Радек, которому это должно быть хорошо известно.

Кроме нападков на обвинение слышатся не менее резкие нападки на самый порядок ведения процесса. Если имелись документы и свидетели, спрашивают сомневающиеся, то почему же держали эти документы в ящике, свидетелей – за кулисами и довольствовались не заслуживающими доверия признаниями?

Это правильно, отвечают советские люди, на процессе мы показали некоторым образом только квинтэссенцию, препарированный результат предварительного следствия. Уличающий материал был проверен нами раньше и предъявлен обвиняемым. На процессе нам было достаточно подтверждения их признания. Пусть тот, кого это смущает, вспомнит, что это дело разбирал военный суд и что процесс этот был, в первую очередь, процессом политическим. Нас интересовала чистка внутривнутриполитической атмосферы. Мы хотели, чтобы весь народ, от Минска до Владивостока, понял происходящее. Поэтому мы постарались обставить процесс с максимальной простотой и ясностью. Подробное изложение документов, свидетельских показаний, разного рода следственного материала может интересовать юристов, криминалистов, историков, а наших советских граждан мы бы только запутали таким чрезмерным нагромождением деталей. Безусловное признание говорит им больше, чем множество остроумно сопоставленных доказательств. Мы вели этот процесс не для иностранных криминалистов, мы вели его для нашего народа.

Так как такой весьма внушительный факт, как признания, их точность и определенность, опровергнут быть не может, сомневающиеся стали выдвигать самые авантюристические предположения о методах получения этих признаний.

В первую очередь, конечно, было выдвинуто наиболее примитивное предположение, что обвиняемые под пытками и под угрозой новых, еще худших пыток были вынуждены к признанию. Однако эта выдумка была опровергнута несомненно свежим видом обвиняемых и их общим физическим и умственным состоянием. Таким образом, скептики были вынуждены для объяснения “невероятного” признания прибегнуть к другим источникам. Обвиняемым, заявили они, давали всякого рода яды, их гипнотизировали и подвергали действию наркотических средств. Однако еще никому на свете не удавалось держать другое существо под столь сильным и длительным влиянием, и тот ученый, которому бы это удалось, едва ли удовольствовался бы положением таинственного подручного полицейских органов; он, несомненно, в целях увеличения своего удельного веса ученого, предал бы гласности найденные им методы. Тем не менее противники процесса предпочитают хвататься за самые абсурдные гипотезы бульварного характера, вместо того чтобы поверить в самое простое, а именно, что обвиняемые были изблечены и их признания соответствуют истине.

Помещение, в котором шел процесс, невелико, оно вмещает примерно триста пятьдесят человек. Судьи, прокурор, обвиняемые, защитники, экс-

перты сидели на невысокой эстраде, к которой вели ступеньки. Ничто не разделяло суд от сидящих в зале. Не было также ничего, что походило бы на скамью подсудимых, барьер, отделявший подсудимых, напоминал скорее обрамление ложи. Сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали в публику. По общему виду это походило больше на дискуссию, чем на уголовный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью. Короче говоря, отравители и судебные чиновники, подготовившие обвиняемых, помимо всех своих ошеломляющих качеств должны были быть выдающимися режиссерами и психологами.

Невероятной, жуткой казалась деловитость, обнаженность, с которой эти люди непосредственно перед своей почти верной смертью рассказывали о своих действиях и давали объяснения своим преступлениям. Очень жаль, что в Советском Союзе воспрещается производить в залах суда фотографирование и записи на грампластинки. Если бы мировому общественному мнению представить не только то, что говорили обвиняемые, но и как они это говорили, их интонации, их лица, то, я думаю, не верящих стало бы гораздо меньше.

Признавались они все, но каждый на свой собственный манер: один с циничной интонацией, другой молодцевато, как солдат, третий внутренне сопротивляясь, прибегая к уверткам, четвертый — как раскаивающийся ученик, пятый — поучая. Но тон, выражение лица, жесты у всех были правдивы.

Писателя Карла Радека я тоже вряд ли когда-нибудь забуду. Я не забуду, ни как он там сидел в своем коричневом пиджаке, ни его безобразное худое лицо, обрамленное каштановой старомодной бородой, ни как он поглядывал в публику, большая часть которой была ему знакома, или на других обвиняемых, часто усмехаясь, очень хладнокровный, зачастую намеренно ироничский, ни как он при входе клал тому или другому из обвиняемых на плечо руку легким, нежным жестом, ни как он, выступая, немного позировал, слегка посмеиваясь над остальными обвиняемыми, показывая свое превосходство актера, — надменный, скептический, ловкий, литературно образованный. Внезапно оттолкнув Пятакова от микрофона, он встал сам на его место. То он ударял газетой о барьер, то брал стакан чая, бросал в него кружок лимона, помешивал ложечкой и, рассказывая о чудовищных делах, пил чай мелкими глотками. Однако, совершенно не рисуясь, он произнес свое заключительное слово, в котором он объяснил, почему он признался, и это заявление, несмотря на его непринужденность и на прекрасно отделанную формулировку, прозвучало трогательно, как откровение человека, терпящего великое бедствие. Самым страшным и трудно объяснимым был жест, с которым Радек после конца последнего заседания покинул зал суда. Это было под утро, в четыре часа, и все — судьи, обвиняемые, слушатели — сильно устали. Из семнадцати обвиняемых тринадцать — среди них близкие друзья Радека — были приговорены к смерти; Радек и трое других — только к заключению. Судья зачитал приговор, мы все — обвиняемые и присутствующие — выслушали его стоя, не двигаясь, в глубоком молчании. После прочтения приговора судьи немедленно удалились. Показались солдаты; они вначале подошли к четверым, не приговоренным к смерти. Один из солдат положил Радеку руку на плечо, по-видимому, предлагая ему следовать за собой. И Радек пошел. Он обернулся, приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, кивнул остальным приговоренным к смерти, своим друзьям, и улыбнулся. Да, он улыбнулся.

Трудно также забыть подробный тягостный рассказ инженера Строилова о том, как он попал в троцкистскую организацию, как он бился, стремясь вырваться из нее, и как троцкисты, пользуясь его провинностью в прошлом, крепко его держали, не выпуская до конца из своих сетей. Незабываем еще

тот еврейский сапожник с бородой раввина – Дробнис, который особенно выдвинулся в Гражданскую войну. После шестилетнего заключения в царской тюрьме, трижды приговоренный белогвардейцами к смерти, он каким-то чудом спасся от трех расстрелов и теперь, стоя здесь, перед судом, путался и запинался, стремясь как-нибудь вывернуться, будучи вынужденным признаться в том, что взрывы, им организованные, причинили не только материальные убытки, но повлекли за собой, как он этого и добивался, гибель рабочих. Потрясающее впечатление произвел также инженер Паркий, который в своем последнем слове проклял Троцкого, выкрикнув ему свое “клокочущее презрение и ненависть”. Бледный от волнения, он должен был немедленно после этого покинуть зал, так как ему сделалось дурно. Впрочем, за все время процесса это был первый и единственный случай, когда кто-либо закричал; все – судьи, прокурор, обвиняемые – говорили все время спокойно, без пафоса, не повышая голоса.

Свое нежелание поверить в достоверность обвинения сомневающиеся обосновывают, помимо вышеприведенных возражений, тем, что поведение обвиняемых перед судом психологически необъяснимо. Почему обвиняемые, спрашивают эти скептики, вместо того чтобы отпираться, наоборот, стараются превзойти друг друга в признаниях? И в каких признаниях! Они сами себя рисуют грязными, подлыми преступниками. Почему они не защищаются, как делают это обычно все обвиняемые перед судом? Почему, если они даже изобличены, они не пытаются привести в свое оправдание смягчающие обстоятельства, а, наоборот, все больше отягчают свое положение? Почему, раз они верят в теории Троцкого, они, эти революционеры и идеологи, не выступают открыто на стороне своего вождя и его теорий? Почему они не превозносят теперь, выступая в последний раз перед массами, свои дела, которые они ведь должны были бы считать похвальными? Наконец, можно представить, что из числа этих семнадцати один, два или четыре могли смириться. Но все – навряд ли.

Я должен признаться, что, хотя процесс меня убедил в виновности обвиняемых, все же, несмотря на аргументы советских граждан, поведение обвиняемых перед судом осталось для меня не совсем ясным. Немедленно после процесса я изложил кратко в советской прессе свои впечатления: “Основные причины того, что совершили обвиняемые, и главным образом основные мотивы их поведения перед судом западным людям все же не вполне ясны. Пусть большинство из них своими действиями заслужило смертную казнь, но бранными словами и порывами возмущения, как бы они ни были понятны, нельзя объяснить психологию этих людей. Раскрыть до конца западному человеку их вину и искупление сможет только великий советский писатель”. Однако мои слова никоим образом не должны означать, что я желаю опорочить ведение процесса или его результаты. Если спросить меня, какова квинтэссенция моего мнения, то я смогу, по примеру мудрого публициста Эрнста Блоха, ответить словами Сократа, который по поводу некоторых неясностей у Гераклита сказал так: “То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно”.

Советские люди не представляют себе этого непонимания. После окончания процесса на одном собрании один московский писатель горячо выступил по поводу моей заметки в печати. Он сказал: “Фейхтвангер не понимает, какими мотивами руководствовались обвиняемые, признаваясь. Четверть миллиона рабочих, демонстрирующих сейчас на Красной площади, это понимают”. Мне тем не менее кажется, что к тому, чтобы понять процесс, я приложил больше усилий, чем большинство западных критиков, и, ввиду того, что советский писатель, который смог бы осветить мотивы признаний, пока еще не появился, я хочу сам попробовать рассказать, как я себе представляю генезис признания.

Суд, перед которым развернулся процесс, несомненно, можно рассматривать как некоторого рода партийный суд. Обвиняемые с юных лет принадлежали к партии, некоторые из них считались ее руководителями. Было бы ошибкой думать, что человек, привлеченный к партийному суду, мог бы вести себя так же, как человек перед обычным судом на Западе. Даже, казалось бы, простая оговорка Радека, обратившегося к судье “товарищ судья” и поправленного председателем: “говорите, гражданин судья”, имела внутренний смысл. Обвиняемый чувствует себя еще связанным с партией, поэтому не

случайно процесс с самого начала носил чуждый иностранцам характер дискуссии. Судьи, прокурор, обвиняемые – и это не только казалось – были связаны между собой узами общей цели. Они были подобны инженерам, испытывавшим совершенно новую сложную машину. Некоторые из них что-то в этой машине испортили, испортили не со злости, а просто потому, что совершенно хотели испробовать на ней свои теории по улучшению этой машины. Их методы оказались неправильными, но эта машина не менее, чем другим, близка их сердцу, и поэтому они сообща с другими откровенно обсуждают свои ошибки. Их всех объединяет интерес к машине, любовь к ней. И это-то чувство и побуждает судей и обвиняемых так дружно сотрудничать друг с другом; чувство, похожее на то, которое в Англии связывает правительство с оппозицией настолько крепко, что вожь оппозиции получает от государства содержание в две тысячи фунтов.

Обвиняемые были приверженцами Троцкого: даже после его падения они верили в него. Но они жили в Советском Союзе, и то, что изгнанному Троцкому представлялось в виде далеких смутных цифр и статистики, для них было живой действительностью. Перед этой реальной действительностью тезис Троцкого о невозможности построения социалистического хозяйства в одной, отдельно взятой стране не мог рассчитывать на продолжительное существование. В 1935 году, перед лицом возрастающего процветания Советского Союза, обвиняемые должны были признать банкротство троцкизма. Они потеряли, по словам Радека, веру в концепцию Троцкого. В силу этих обстоятельств, в силу самой природы вещей признания обвиняемых прозвучали как вынужденный гимн режиму Сталина. Обвиняемые уподобились тому языческому пророку из Библии, который, выступив с намерением проклясть, стал, против своей воли, благословлять.

Обвиняемый Муралов восемь месяцев отрицал свою вину, пока, наконец, 5 декабря не сознался. “Хотя я, – заявил он на процессе, – и не считал директиву Троцкого о терроре и вредительстве правильной, все же мне казалось морально недопустимым изменить ему. Но, наконец, когда от него стали отходить остальные – одни честно, другие нечестно, – я сказал себе: я сражался активно за Советский Союз в трех революциях, и десятки раз моя жизнь висела на волоске. Не должен ли я подчиниться его интересам? Или мне нужно остаться у Троцкого и продолжать и углублять его неправое дело? Но тогда имя мое будет служить знаменем для тех, кто еще находится в рядах контрреволюции. Другие, независимо от того, честно или нечестно они отошли от Троцкого, во всяком случае не стоят под знаменем контрреволюции. Должен ли я оставаться таким святым? Для меня это было решающим, и я сказал: ладно, иду и показываю всю правду”. Показания Радека по этому пункту, более тонкие по форме, в основном повторяют ту же мысль. Речи обоих этих людей кажутся мне, оставляя в стороне процесс, интересными в психологическом отношении. Они наглядно показывают, до какого предела могут идти люди за человеком, в чье превосходство, способность к руководству и гениальную концепцию они верят, и где начинается поворот, на котором они его оставляют. Авантюристские и отчаянные средства, к которым решил прибегнуть Троцкий, после того как выяснилась ошибочность его основной концепции, должны были отпугнуть от него более мелких сторонников. Они стали считать его методы безумными. Они не отошли от него открыто уже раньше только потому, что не знали, как это технически обставить. “Мы бы сами пошли в милицию, – заявил Радек, – если бы она не явилась к нам раньше”, и это вполне вероятно. Ведь некоторые из их соучастников действительно раньше пошли в милицию, и таким образом заговор был раскрыт.

Возражения сомневающихся по существу правильны. Люди, верящие в свое дело, зная, что они обречены на смерть, не изменяют ему в последний час. Они хватаются за последнюю возможность обратиться к общественности и используют свое выступление в целях пропаганды своего дела. Сотни революционеров перед судом Гитлера заявляют: “Да, я совершил то, в чем вы меня обвиняете. Вы можете меня уничтожить, но я горжусь тем, что я сделал”. Таким образом, сомневающиеся правы, спрашивая: почему ни один из этих троцкистов не сказал: “Да, ваше “государство Сталина” построено неправильно. Прав Троцкий. Все, что я сделал, хорошо. Убейте меня, но я защищаю свое дело”.

Но даже если отбросить идеологические побудительные причины и принять во внимание только внешние обстоятельства, то обвиняемые были пря-

мо-таки вынуждены к признанию. Как они должны были себя вести, после того как они увидели перед собой весьма внушительный следственный материал, изобличающий их в содеянном? Они были обречены независимо от того, признаются они или не признаются. Если они признаются, то, возможно, их признание, несмотря на все, даст им проблеск надежды на помилование. Грубо говоря: если они не признаются, они обречены на смерть на все сто процентов, если они признаются, — на девяносто девять. Так как их внутренние убеждения не возражают против признания, то почему же им не признаться? Из их заключительных слов видно, что такого рода соображения действительно имели место. Из семнадцати обвиняемых двенадцать просили суд принять во внимание при вынесении приговора, в качестве смягчающего вину обстоятельства, их признание.

Однако ответить на вопрос, какие причины побудили правительство выставить этот процесс на свет, пригласив на него мировую прессу и мировую общественность, пожалуй, еще труднее, чем ответить на вопрос: какими мотивами руководствовались обвиняемые? Чего ждали от этого процесса? Не должна ли была эта манифестация привести скорее к неприятным, чем к благоприятным, последствиям? Зиновьевский процесс оказал за границей очень вредное действие: он дал в руки противникам долгожданный материал для пропаганды и заставил поколебаться многих друзей Союза. Он вызвал сомнение в устойчивости режима, в которую до этого верили даже враги. Зачем же вторым подобным процессом так легкомысленно подрывать собственный престиж?

Причину, утверждают противники, следует искать в опустошительном депотизме Сталина, в той радости, которую он испытывает от террора. Ясно, что Сталин, обуреваемый чувствами неполноценности, властолюбия и безграничной жаждой мести, хочет отомстить всем, кто его когда-либо оскорбил, и устранить тех, кто в каком-либо отношении может стать опасным.

Подобная болтовня свидетельствует о непонимании человеческой души и неспособности правильно рассуждать. Достаточно только прочесть любую книгу, любую речь Сталина, посмотреть на любой его портрет, вспомнить любое его мероприятие, проведенное им в целях осуществления строительства, и немедленно станет ясно, что этот умный, рассудительный человек никогда не мог совершить такую чудовищную глупость, как поставить с помощью бесчисленных соучастников такую грубую комедию с единственной целью отпраздновать, при бенгальском освещении, свое торжество над повергнутым противником.

Растущая демократизация, в частности предложение проекта новой Конституции, должна была вызвать у троцкистов новый подъем активности и возбудить у них надежду на большую свободу действий и агитации. Правительство нашло своевременным показать свое твердое решение уничтожать в зародыше всякое проявление троцкистского движения. Но главной причиной, заставившей руководителей Советского Союза провести этот процесс перед множеством громкоговорителей, является, пожалуй, непосредственная угроза войны. Раньше троцкисты были менее опасны, их можно было прощать, в худшем случае — ссылать. Очень действенным средством ссылка все же не является; Сталин, бывший сам шесть раз в ссылке и шесть раз бежавший, это знает. Теперь, непосредственно накануне войны, такое мягкосердечие нельзя было себе позволить. Раскол, фракционность, не имеющие серьезного значения в мирной обстановке, могут в условиях войны представить огромную опасность. После убийства Кирова дела о троцкистах в Советском Союзе разбирают военные суды. Эти люди стояли перед военным судом, и военный суд их осудил.

## Из главы VIII

### НЕНАВИСТЬ И ЛЮБОВЬ

Страстность, с которой реагировали за границей на троцкистские процессы люди, даже благожелательно настроенные к Советскому Союзу, абсолютно непонятна советским гражданам. Я уже говорил о глубоком разочаровании, об отчаянии многих, видевших в Советском Союзе осуществление своих



демократических чаяний и последнее средство спасения цивилизации от гибели. Я говорил об этих людях, которые, будучи не в состоянии освободиться от своих представлений о демократии, были этими “произвольными и насильственными” процессами как бы низвержены с небес.

Дело в том, что многие интеллигенты, даже те, которые считают исторической необходимостью смену капиталистической системы социалистической, боятся трудностей переходного периода. Они вполне искренне желают мировой победы социализма, но их тревожит вопрос о собственной будущности в период великого социалистического переворота. Сердце их отвергает то, что утверждает их разум. В теории они социалисты, на практике своим поведением они поддерживают капиталистический строй. Таким образом, само существование Советского Союза является для них постоянным напоминанием о непрочности их бытия, постоянным укором двусмысленности их собственного поведения. Существование Советского Союза служит для них отрядным доказательством того, что в мире разум еще не уничтожен; в остальном же они его не любят, скорее — ненавидят.

По этим причинам они с удовольствием, даже не признаваясь себе в этом, пользуются всяким случаем, чтобы придраться к Советскому Союзу. “Загадочность” троцкистских процессов дала им желанный повод поиронизировать над Советским Союзом и заклеить в блестящих статьях мнимый произвол суда. “Террор”, обнаружившийся в Советском Союзе, доказал им, к их ваящему удовольствию, что Союз в основном не отличается от фашистских государств и что, таким образом, они поступали правильно, не поддакивая Союзу. Этот “террор” оправдал их нерешительность и вялость в глазах их собственной совести. “Деспотизм” Советского Союза явился для них желанным плащом, под которым они скрыли свою духовную наготу...

В своем заключительном слове Радек говорил о том, как он в продолжение двух с половиной месяцев заставлял вытягивать из себя каждое слово признания и как трудно следователю пришлось с ним. “Не меня пытал следователь, — сказал он, — а я его”. Некоторые крупные английские газеты поместили это заявление Радека под крупным заголовком — “Радек под пыткой”. Полагаю, что я был единственным человеком в Москве, которого удивили такого рода корреспонденции.

В общем, я считаю поведение многих западных интеллигентов в отношении Советского Союза близоруким и недостойным. Они не видят всемирно-исторических успехов, достигнутых Советским Союзом, они не хотят понять, что историю в перчатках делать нельзя. Они являются со своими абсолютными масштабами и хотят вымерить с точностью до одного миллиметра существующие в Советском Союзе пределы свободы и демократии. Как бы разумны и гуманны ни были цели Советского Союза, эти западные интеллигенты крайне строги, критикуя средства, которые применяет Советский Союз. Для них в данном случае не цель облагораживает средства, а средства оскверняют цель.

Мне это понятно. Я сам в юности принадлежал к этому типу интеллигентов, провозглашавших принцип абсолютного пацифизма, интегрального отрицания насилия. Во время войны мне пришлось переучиваться. Уже в период войны я написал пьесу “Уоррен Хастингс”, в которой изобразил процесс, в свое время так же взбудораживший мир, как ныне московский процесс троцкистов. Но этот процесс вел английский генерал-губернатор Уоррен Хастингс, один из основателей английского господства в Индии и один из проводников западной цивилизации в этой стране. Он считал эту деятельность прогрессивной, и мы, рассматривая ее в историческом разрезе, пожалуй, согласимся с ним. Уоррен Хастингс приходит к заключению, что “гуманность можно привить человеческому роду только посредством пушек”, и обращаясь к людям, принуждающим его своими гуманными принципами к менее гуманному, чем ему хотелось бы, действиям, он говорит: “Двадцать два года я был свидетелем того, как легкое дрожание руки, вызванное человеколюбием, опустошало весь край. Вы, мои человеколюбивые господа, этого не знаете, но именно вы вынуждаете меня к нечеловечности”.

Критиковать Советский Союз не трудно, тем более что хулителям это доставляет благосклонное признание. В Советском Союзе есть неполадки внешнего и внутреннего порядка; их легко обнаружить, их не скрывают, и верно, что для иностранца, прибывшего из Европы, жизнь в Москве пока еще отнюдь

не является приятной. Однако тот, кто подчеркивает недостатки Союза, а о великом, которое можно видеть там, пишет в подстрочном примечании, тот свидетельствует больше против себя, чем против Союза. Он подобен критику, который в гениальной поэме замечает прежде всего неправильно расставленные запятые. В первой немецкой заметке о Шекспире было написано: “Мало смыслил в латыни и не знал греческого...”

Воздух, которым дышат на Западе, — это нездоровый, отработанный воздух. У западной цивилизации не осталось больше ни ясности, ни решительности. Там не осмеливаются защищаться кулаком или хотя бы крепким словом от наступающего варварства, там это делают робко, с неопределенными жестами, там выступления ответственных лиц против фашизма подаются в засахаренном виде, с массой оговорок. Кто не испытал отвращения при виде того, с каким лицемерием и трусостью реагируют ответственные лица на нападение фашистов на Испанскую республику?

Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать: да, да, да! И так как я считал непорочным прятать это “да” в своей груди, я и написал эту книгу.

## ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ТОВАРИЩА СТАЛИНА С ГЕРМАНСКИМ ПИСАТЕЛЕМ ЛИОНОМ ФЕЙХТВАНГЕРОМ

8 января 1937 года

**Фейхтвангер.** Я просил бы вас подробнее определить функции писателя. Я знаю, что вы называли писателей инженерами душ.

**Сталин.** Писатель, если он улавливает основные нужды широких народных масс в данный момент, может сыграть очень крупную роль в деле развития общества. Он обобщает смутные догадки и неосознанные настроения передовых слоев общества и инстинктивные действия масс делает сознательными.

Он формирует общественное мнение эпохи. Он помогает передовым силам общества осознать свои задачи и бить вернее по цели. Словом, он может быть хорошим служебным элементом общества и передовых устремлений этого общества. Но бывает и другая группа писателей, которая, не поняв новых веяний эпохи, атакует все новое в своих произведениях и обслуживает таким образом реакционные силы общества. Роль такого рода писателей тоже не мала, но, с точки зрения баланса истории, она отрицательна. Есть третья группа писателей, которая под флагом ложно понятого объективизма старается усидеть между двух стульев, не желает примкнуть ни к передовым слоям общества, ни к реакционным. Такую группу писателей обычно обстреливают с двух сторон: передовые и реакционные силы. Она обычно не играет большой роли в истории развития общества, в истории развития народов, и история ее забывает так же быстро, как забывается прошлогодний снег.

**Фейхтвангер.** Я попросил бы вас разъяснить, как вы понимаете разницу между призванием научного писателя и писателя-художника, который передает свое мироощущение, самого себя.

**Сталин.** Научные писатели обычно действуют понятиями, а писатели-беллетристы образами. Они более конкретно, художественными картинами изображают то, что их интересует. Научные писатели пишут для избранных, более квалифицированных людей, а художники для более широких масс. Я бы сказал, что в действиях так называемых научных писателей больше элементов расчета. Писатели-художники — люди более непосредственные, в их деятельности гораздо меньше расчета.

**Фейхтвангер.** Хотел бы спросить, что означает ваше определение интеллигенции как межклассовой прослойки в докладе о Конституции СССР<sup>1</sup>. Некоторые думают, что интеллигенция не связана ни с одним классом, имеет меньше предрассудков, большую свободу суждения, но зато меньше прав. Как говорил Гёте — действующий не свободен, свободен только созерцающий.

**Сталин.** Я изложил обычное марксистское понимание интеллигенции. Ничего нового я не сказал, класс — общественная группа людей, которая занимает определенную стойкую, постоянную позицию в процессе производства. Рабочий класс производит всё, не владея средствами производства. Капиталисты владеют капиталом. Без них, при капиталистическом строе, производство не обходится. Помещики владеют землей — важнейшими средствами производства. Крестьяне владеют малыми клочками земли, арендуют ее, но занимают в сельском хозяйстве определенные позиции. Интеллигенция — обслуживающий элемент, не общественный класс. Она сама ничего не производит, не занимает самостоятельного места в процессе производства. Интеллигенция есть в фабриках и заводах — служит капиталистам. Интеллигенция есть в экономиях и имениях — служит помещикам. Как только интеллигенция начинает финтить, — ее заменяют другими. Есть такая группа интеллигенции, которая не связана с производством, как литераторы, работники культуры. Они мнят себя “солью земли”, командующей силой, стоящей над общественными классами. Но из этого ничего серьезного получиться не может. Была в России в 70-х годах прошлого столетия группа интеллигенции, которая хотела насиловать историю, и, не считаясь с тем, что условия для республики не созрели, пыталась втянуть общество в борьбу за республику<sup>2</sup>. Ничего из этого не вышло. Эта группа была разбита — вот вам самостоятельная сила интеллигенции!

Другая группа интеллигенции хотела из русской сельской общины непосредственно развить социализм, минуя капиталистическое развитие<sup>3</sup>. Ничего из этого не вышло. Она была разбита. Таких примеров можно привести много также и из истории Германии, Франции и других стран.

Когда интеллигенция ставит себе самостоятельные цели, не считаясь с интересами общества, пытаясь выполнить какую-то самостоятельную роль, — она терпит крах. Она вырождается в утопистов. Известно, как едко Маркс высмеивал утопистов<sup>4</sup>. Всегда, когда интеллигенция пыталась ставить самостоятельные задачи, она терпела фиаско.

Роль интеллигенции — служебная, довольно почетная, но служебная. Чем лучше интеллигенция распознает интересы господствующих классов и чем лучше она их обслуживает, тем большую роль она играет. В этих рамках и на этой базе ее роль серьезная.

Следует ли из всего этого, что у интеллигенции должно быть меньше прав?

В капиталистическом обществе следует. В капиталистическом обществе смотрят на капитал — у кого больше капитала, тот умнее, тот лучше, тот располагает большими правами. Капиталисты говорят: интеллигенция шумит, но капитала не имеет. Поэтому интеллигенция там неравноправна. У нас совершенно иначе.

Если в капиталистическом обществе человек состоит из тела, души и капитала, то у нас человек состоит из души, тела и способностей трудиться. А трудиться может всякий: обладание капиталом у нас привилегий не дает, а даже вызывает некоторое раздражение. Поэтому интеллигенция у нас полностью равноправна с рабочими и крестьянами. Интеллигент может развивать все свои способности, трудиться так же, как рабочий и крестьянин.

**Фейхтвангер.** Если я вас правильно понял, вы также считаете, что писатель-художник больше апеллирует к инстинкту читателя, а не к его разуму.

Но тогда писатель-художник должен быть более реакционным, чем писатель научный, так как инстинкт более реакционен, чем разум. Как известно, Платон хотел удалить писателей из своего идеального государства.

**Сталин.** Нельзя играть на слове “инстинкт”. Я говорил не только об инстинкте, но и о настроениях, о неосознанных настроениях масс. Это не то же, что инстинкт, это нечто большее. Кроме того, я не считаю инстинкты неизменными, неподвижными. Они меняются.

Сегодня народные массы хотят вести борьбу против угнетателей в религиозной форме, в форме религиозных войн. Так это было в XVII веке и ранее в Германии и Франции<sup>5</sup>. Потом через некоторое время ведут борьбу против угнетателей более осознанную — например, Французская революция.

У Платона была рабовладельческая психология. Рабовладельцы нуждались в писателях, но они превращали их в рабов (много писателей было продано в рабство – в истории тому достаточно примеров) или прогоняли их, когда писатели плохо обслуживали нужды рабовладельческого строя.

Что касается нового, советского общества, то здесь роль писателя огромна. Писатель тем ценнее, что он непосредственно, почти без всякого рефлекса отражает новые настроения масс. И если спросить, кто скорее отражает новые настроения и веяния, то это скорее делает художник, чем научный исследователь. Художник находится у самого истока, у самого котла новых настроений. Он может поэтому направить настроения в новую сторону, а научная литература приходит позже. Непонятно, почему писатель-художник должен быть консерватором или реакционером. Это неверно. Этого не оправдывает и история. Первые попытки атаковать феодальное общество ведутся художниками – Вольтер, Мольер раньше атаковали старое общество<sup>6</sup>. Потом пришли энциклопедисты.

В Германии раньше были Гейне, Бьерне (Бёрне), потом пришли Маркс, Энгельс. Нельзя сказать, что роль всех писателей реакционна. Часть писателей может играть реакционную роль, защищая реакционные настроения.

Максим Горький отражал еще смутные революционные настроения и стремления рабочего класса задолго до того, как они вылились в революцию 1905 года.

**Фейхтвангер.** В каких пределах возможна в советской литературе критика?<sup>7</sup>

**Сталин.** Надо различать критику деловую и критику, имеющую целью вести пропаганду против советского строя.

Есть у нас, например, группа писателей, которые не согласны с нашей национальной политикой, с национальным равноправием<sup>8</sup>. Они хотели бы покритиковать нашу национальную политику. Можно раз покритиковать. Но их цель не критика, а пропаганда против нашей политики равноправия наций. Мы не можем допустить пропаганду натравливания одной части населения на другую, одной нации на другую. Мы не можем допустить, чтобы постоянно напоминали, что русские были когда-то господствующей нацией.

Есть группа литераторов, которая не хочет, чтобы мы вели борьбу против фашистских элементов, а такие элементы у нас имеются. Дать право пропаганды за фашизм, против социализма – нецелесообразно<sup>9</sup>.

Если элиминировать попытки пропаганды против политики Советской власти, пропаганды фашизма и шовинизма, то писатель у нас пользуется самой широкой свободой, более широкой, чем где бы то ни было.

Критику деловую, которая вскрывает недостатки в целях их устранения, мы приветствуем. Мы, руководители, сами проводим и предоставляем самую широкую возможность любой такой критики всем писателям<sup>10</sup>.

Но критика, которая хочет опрокинуть советский строй, не встречает у нас сочувствия. Есть у нас такой грех.

**Фейхтвангер.** Получилось некоторое недоразумение. Я не считаю, что писатель должен быть обязательно реакционным. Но так как инстинкт отстаёт, как бы хромает за разумом, то писатель может оказаться реакционным, сам того не желая. Так, у Горького иногда образы убийц, воров вызывают чувство симпатии. И в моих собственных произведениях есть отражение отсталых инстинктов. Может быть, поэтому они читаются с интересом. Как мне кажется, раньше было больше литературных произведений, критикующих те или иные стороны советской жизни. Каковы причины этого?

**Сталин.** Ваши произведения читаются с интересом и хорошо встречаются в нашей стране не потому, что там есть элементы отставания, а потому, что там правдиво отображается действительность. Хотели ли вы или не хотели дать толчок революционному развитию Германии, на деле, независимо от вашего желания, получилось, что вы показали революционные перспективы Германии. Прочитавши ваши книги, читатель сказал себе: так дальше жить в Германии нельзя.

Идеология всегда немного отстаёт от действительного развития, в том числе и литература. И Гегель говорил, что сова Минервы вылетает в сумерки<sup>11</sup>.

Сначала бывают факты, потом их отображение в голове. Нельзя смешивать вопрос о мировоззрении писателя с его произведениями.

Вот, например, Гоголь и его “Мертвые души”. Мировоззрение Гоголя было, бесспорно, реакционное. Он был мистиком. Он отнюдь не считал, что

крепостное право должно пасть. Неверно представление, что Гоголь хотел бороться против крепостного права. Об этом говорит его переписка, полная весьма реакционных взглядов<sup>12</sup>. А между тем, помимо его воли, гоголевские “Мертвые души” своей художественной правдой оказали огромное воздействие на целые поколения революционной интеллигенции сороковых, пятидесятих, шестидесятих годов.

Не следует смешивать мировоззрение писателя с воздействием тех или других его художественных произведений на читателя. Было ли у нас раньше больше критических произведений? Возможно. Я не занимался изучением двух периодов развития русской литературы.

До 1933 года мало кто из писателей верил в то, что крестьянский вопрос может быть разрешен на основе колхозов. Тогда критики было больше.

Факты убеждают. Победила установка Советской власти на коллективизацию, которая сомкнула крестьянство с рабочим классом.

Проблема взаимоотношений рабочего класса и крестьянства была важнейшей и доставляла наибольшую заботу революционерам во всех странах.

Она казалась неразрешимой: крестьянство реакционно связано с частной собственностью, тащит назад, рабочий класс идет вперед. Это противоречие не раз приводило к революции. Так погибла революция во Франции в 1871 году, так погибла революция в Германии. Не было контакта между рабочим классом и крестьянством.

Мы эту проблему успешно разрешили. Естественно, что после таких побед меньше почвы для критики. Может быть, не следовало добиваться этих успехов, чтобы было больше критики? Мы думаем иначе. Беда не так велика.

**Фейхтвангер.** Я здесь всего 4–5 недель<sup>13</sup>. Одно из первых впечатлений: некоторые формы выражения уважения и любви к вам кажутся мне преувеличенными и безвкусными. Вы производите впечатление человека простого и скромного. Не являются ли эти формы для вас излишним бременем?

**Сталин.** Я с вами целиком согласен. Неприятно, когда преувеличивают до гиперболических размеров. В экстаз приходят люди из-за пустяков. Из сотен приветствий я отвечаю только на 1–2, не разрешаю большинство их печатать, совсем не разрешаю печатать слишком восторженные приветствия, как только узнаю о них. В девяти десятых этих приветствий – действительно полная безвкусица. И мне они доставляют неприятные переживания<sup>14</sup>.

Я хотел бы не оправдать – оправдать нельзя, а по-человечески объяснить – откуда такой безудержный, доходящий до приторности восторг вокруг моей персоны. Видимо, у нас в стране удалось разрешить большую задачу, за которую поколения людей бились целые века – бабувисты, гебертисты<sup>15</sup>, всякие секты французских, английских, германских революционеров. Видимо, разрешение этой задачи (ее лелеяли рабочие и крестьянские массы): освобождение от эксплуатации вызывает огромный восторг. Слишком люди рады, что удалось освободиться от эксплуатации. Буквально не знают, куда девать свою радость.

Очень большое дело – освобождение от эксплуатации, и массы это празднуют по-своему. Все это приписывают мне, это, конечно, неверно, что может сделать один человек? Во мне они видят собирательное понятие и разводят вокруг меня костер восторгов телячьих.

**Фейхтвангер.** Как человек, сочувствующий СССР, я вижу и чувствую, что чувства любви и уважения к вам совершенно искренни и элементарны. Именно потому, что вас так любят и уважают, не можете ли вы прекратить своим словом эти формы проявления восторга, которые смущают некоторых ваших друзей за границей?

**Сталин.** Я пытался несколько раз это сделать. Но ничего не получается. Говоришь им – нехорошо, не годится это. Люди думают, что это я говорю из ложной скромности.

Хотели по поводу моего 55-летия поднять празднование. Я провел через ЦК ВКП(б) запрещение этого<sup>16</sup>. Стали поступать жалобы, что я мешаю им праздновать, выразить свои чувства, что дело не во мне. Другие говорили, что я ломаюсь. Как воспретить эти проявления восторгов? Силой нельзя. Есть свобода выражения мнений. Можно просить по-дружески<sup>17</sup>.

Это проявление известной некультурности. Со временем это надоест. Трудно помешать выражать свою радость. Жалко принимать строгие меры против рабочих и крестьян.

Очень уже велики победы. Раньше помещик и капиталист был демиургом, рабочих и крестьян не считали за людей. Теперь кабала с трудящихся снята. Огромная победа! Помещики и капиталисты изгнаны, рабочие и крестьяне – хозяева жизни. Приходят в телячий восторг.

Народ у нас еще отстает по части общей культурности, поэтому выражение восторга получается такое. Законом, запретом нельзя тут что-либо сделать. Можно попасть в смешное положение. А то, что некоторых людей за границей это огорчает, тут ничего не поделаешь. Культура сразу не достигается. Мы много в этой области делаем: построили, например, за одни только 1935 и 1936 годы в городах свыше двух тысяч новых школ<sup>18</sup>. Всеми мерами стараемся поднять культурность. Но результаты скажутся через 5–6 лет. Культурный подъем идет медленно. Восторги растут бурно и некрасиво<sup>19</sup>.

**Фейхтвангер.** Я говорю не о чувстве любви и уважения со стороны рабочих и крестьянских масс, а о других случаях. Выставляемые в разных местах ваши бюсты – некрасивы, плохо сделаны. На выставке планировки Москвы, где всё равно прежде всего думаешь о вас, – к чему там плохой бюст?<sup>20</sup> На выставке Рембрандта, развернутой с большим вкусом<sup>21</sup>, к чему там плохой бюст?

**Сталин.** Вопрос закономерен<sup>22</sup>. Я имел в виду широкие массы, а не бюрократов из различных учреждений. Что касается бюрократов, то о них нельзя сказать, что у них нет вкуса. Они боятся, если не будет бюста Сталина, то их либо газета, либо начальник обругает, либо посетитель удивится. Это область карьеризма, своеобразная форма “самозащиты” бюрократов: чтобы не трогали, надо бюст Сталина выставить.

Ко всякой партии, которая побеждает, примазываются чуждые элементы, карьеристы. Они стараются защитить себя по принципу мимикрии – бюсты выставляют, лозунги пишут, в которые сами не верят. Что касается плохого качества бюстов, то это делается не только намеренно (я знаю, это бывает), но и по неумению выбрать. Я видел, например, в первомайской демонстрации портреты мои и моих товарищей: похожие на всех чертей. Несут люди с восторгом и не понимают, что портреты не годятся. Нельзя издать приказ, чтобы выставляли хорошие бюсты, – ну их к чёрту! некогда заниматься такими вещами, у нас есть другие дела и заботы, на эти бюсты и не смотришь<sup>23</sup>.

**Фейхтвангер.** Я боюсь, что употребление вами слова “демократия” – я вполне понимаю смысл вашей новой Конституции и ее приветствую – не совсем удачно. На Западе 150 лет слово “демократия” понимается как формальная демократия. Не получается ли недоразумение из-за употребления вами слова “демократия”, которому за границей привыкли придавать определенный смысл. Все сводится к слову “демократия”. Нельзя ли придумать другое слово?

**Сталин.** У нас не просто демократия, перенесенная из буржуазных стран<sup>24</sup>. У нас демократия необычная, у нас есть добавка – слово “социалистическая” демократия. Это другое. Без этой добавки путаница будет. С этой добавкой понять можно. Вместе с тем мы не хотим отказываться от слова “демократия”, потому что мы в известном смысле являемся учениками, продолжателями европейских демократов, такими учениками, которые доказали недостаточность и уродливость формальной демократии и превратили формальную демократию в социалистическую демократию. Мы не хотим скрывать этот исторический факт.

Кроме того, мы не хотим отказываться от слова “демократия” еще и потому, что сейчас в капиталистическом мире разгорается борьба за остатки демократии против фашизма. В этих условиях мы не хотим отказываться от слова “демократия”, мы объединяем наш фронт борьбы с фронтом борьбы рабочих, крестьян, интеллигенции против фашизма за демократию. Сохраняя слово “демократия”, мы протягиваем им руку и говорим им, что после победы над фашизмом и укрепления формальной демократии придется еще бороться за высшую форму демократии, за социалистическую демократию.

**Фейхтвангер.** Может быть, я как литератор придаю слишком много значения слову и связанным с ним ассоциациям. Мне кажется, что буржуазная критика, основывающаяся на неправильном понимании слова “демократия”, приносит вред. Советский Союз создал столько нового, почему бы ему не создать нового слова и здесь?

**Сталин.** Вы не правы. Положительные стороны от сохранения слова “демократия” выше, чем недостатки, связанные с буржуазной критикой. Возьмите движение Единого фронта во Франции, в Испании. Различные слои объеди-

нились для защиты жалких остатков демократии. Единый фронт против фашизма – есть фронт борьбы за демократию<sup>25</sup>. Рабочие, крестьяне, интеллигенция спрашивают: как вы, советские люди, относитесь к нашей борьбе за демократию, правильна ли эта борьба? Мы говорим: “Правильно, боритесь за демократию, которая является низшей ступенью демократии. Мы вас поддерживаем, создав высшую стадию демократии – социалистическую демократию. Мы наследники старых демократов – французских революционеров, германских революционеров, наследники, не оставшиеся на месте, а поднявшие демократию на высшую ступень”.

Что касается критиков, то им надо сказать, что демократия придумана не для маленьких групп литераторов, а создана для того, чтобы дать новому классу – буржуазии возможность борьбы против феодализма. Когда феодализм был побежден, рабочий класс захотел воспользоваться демократией, чтобы вести борьбу против буржуазии. Тут для буржуазии демократия стала опасной. Она была хороша для борьбы буржуазии с феодализмом, она стала плоха, когда рабочий класс стал пользоваться ею в борьбе против буржуазии.

Демократия стала опасна, выступил фашизм. Не напрасно некоторые группы буржуазии соглашались на фашизм, ибо раньше демократия была полезна, а теперь стала опасна.

Демократизм создает рабочему классу возможность пользоваться различными правами для борьбы против буржуазии.

В этом суть демократии, которая создана не для того, чтобы литераторы могли чесать языки в печати.

Если так смотреть на демократию, то у нас трудящиеся пользуются всеми мыслимыми правами. Тут тебе и свобода собраний, печати, слова, союзов и т. д.

Это надо разъяснить и нашим друзьям, которые колеблются. Мы предпочитаем иметь меньше друзей, но стойких друзей. Много друзей, но колеблющихся – это обуза.

Я знаю этих критиков. Некоторые из этих критиков спрашивают: почему мы не легализуем группу, или, как они говорят, партию, троцкистов. Они говорят – легализуете партию троцкистов, – значит, у вас демократия, не легализуете – значит, нет демократии. А что такое партия троцкистов? Как оказалось, – мы это знали давно – это разведчики, которые вместе с агентами японского и германского фашизма взрывают шахты, мосты, производят железнодорожные крушения. На случай войны против нас они готовились принять все меры, чтобы организовать наше поражение: взрывать заводы, железные дороги, убивать руководителей и т. д. Нам предлагают легализовать разведчиков, агентов враждебных иностранных государств.

Ни одно буржуазное государство – Америка, Англия, Франция – не легализуют шпионов и разведчиков враждебных иностранных государств.

Почему же это предлагают нам? Мы против такой “демократии”.

**Фейхтвангер.** Именно потому, что демократия на Западе так уже выщерблена, плохо пахнет, надо было бы отказаться от этого слова.

**Сталин.** А как же Народный фронт дерется за демократию? А во Франции, в Испании – правительство Народного фронта<sup>26</sup>, – люди борются, кровь проливают, это – не за иллюзии, а за то, чтобы был парламент, была свобода забастовок, свобода печати, союзов для рабочих.

Если демократию не отождествлять с правом литераторов таскать друг друга за волосы в печати, а понимать ее как демократию для масс, то тут есть за что бороться.

Мы хотим держать Народный фронт с массами во Франции и др. странах. Мост к этому – демократия, так, как ее понимают массы.

Есть разница между Францией и Германией? Хотели бы германские рабочие иметь снова настоящий парламент, свободу союзов, слова, печати? Конечно, да. Кашен в парламенте, Тельман – в концентрационном лагере, во Франции могут рабочие бастовать, в Германии – нет и т. д.<sup>27</sup>

**Фейхтвангер.** Теперь есть три понятия – фашизм, демократизм, социализм. Между социализмом и демократией есть разница.

**Сталин.** Мы не на острове. Мы, русские марксисты, учились демократизму у социалистов Запада – у Маркса, Энгельса, у Жореса, Геда, Бебеля. Если бы мы создали новое слово – это дало бы больше пищи критикам: русские, мол, отвергают демократию.

**Фейхтвангер.** О процессе Зиновьева и др. был издан протокол<sup>28</sup>. Этот отчет был построен главным образом на признаниях подсудимых. Несомненно, есть еще другие материалы по этому процессу. Нельзя ли их также издать?

**Сталин.** Какие материалы?

**Фейхтвангер.** Результаты предварительного следствия<sup>29</sup>. Все, что доказывает их вину, помимо их признаний.

**Сталин.** Среди юристов есть две школы. Одна считает, что признание подсудимых – наиболее существенное доказательство их вины. Англосаксонская юридическая школа считает, что вещественные элементы – нож, револьвер и т. д. – недостаточны для установления виновников преступления. Признание обвиняемых имеет большее значение.

Есть германская школа, она отдает предпочтение вещественным доказательствам, но и она отдает должное признанию обвиняемых. Непонятно, почему некоторые люди или литераторы за границей не удовлетворяются признанием подсудимых. Киров убит – это факт. Зиновьева, Каменева, Троцкого там не было. Но на них указали люди, совершившие это преступление, как на вдохновителей его. Все они – опытные конспираторы: Троцкий, Зиновьев, Каменев и др. Они в таких делах документов не оставляют. Их уличили на очных ставках их же люди, тогда им пришлось признать свою вину.

Еще факт – в прошлом году произошло крушение воинского поезда на ст. Шумиха в Сибири<sup>30</sup>. Поезд шел на Дальний Восток. Как говорилось на суде, стрелочница перевела стрелку неверно и направила поезд на другой путь. При крушении были убиты десятки красноармейцев<sup>31</sup>. Стрелочница – молодая девушка – не признала свою вину, она говорила, что ей дали такое указание. Начальник станции, дежурный были арестованы, кое-кто признался в упущениях. Их осудили. Недавно были арестованы несколько человек в этом районе – Богуславский, Дробнис, Князев<sup>32</sup>. Часть арестованных по делу о крушении, но еще не приговоренных, показали, что крушение произведено по заданию троцкистской группы. Князев, который был троцкистом и оказался японским шпионом, показал, что стрелочница не виновата. У них, троцкистов, была договоренность с японскими агентами о том, чтобы устраивать катастрофы. Чтобы замаскировать преступление, использовали стрелочницу как щит и дали ей устный приказ неправильно перевести стрелку. Вещественные доказательства против стрелочницы: она перевела стрелку. Показания людей доказывают, что виновата не она. У нас имеются не только показания подсудимых. Но мы придаем показаниям большое значение. Говорят, что показания дают потому, что обещают подсудимым свободу. Это чепуха. Люди это все опытные, они прекрасно понимают, что значит показать на себя, что влечет за собой признание в таких преступлениях. Скоро будет процесс Пятакова и др.<sup>33</sup>. Вы сможете много интересного узнать, если будете присутствовать на этом процессе<sup>34</sup>.

**Фейхтвангер.** Я написал пьесу из жизни Индии, в которой изображается, как лорд Гастингс поступил с противником, который действительно хотел произвести государственный переворот, приписав ему не это, а совершенно другое преступление<sup>35</sup>.

Критики за границей (не я) говорят, что они не понимают психологию подсудимых, почему они не отстаивают своих взглядов, а сознаются.

**Сталин.** 1-й вопрос – почему они так пали? Надо сказать, что все эти люди – Зиновьев, Каменев, Троцкий, Радек, Смирнов и др., – все они при жизни Ленина вели с ним борьбу. Теперь, после смерти Ленина, они себя именуют большевиками-ленинцами, а при жизни Ленина они с ним боролись.

Ленин еще на X съезде партии в 1921 г., когда он провел резолюцию против фракционности, говорил, что фракционность против партии, особенно если люди на своих ошибках настаивают, должна бросить их против советского строя в лагерь контрреволюции. Советский строй таков – можно быть за него, можно быть нейтральным, но если начать бороться с ним, то это обязательно приводит к контрреволюции<sup>36</sup>.

Эти люди боролись против Ленина, против партии:

Во время Брестского мира в 1918 году.

В 1921 году по вопросу о профсоюзах.

После смерти Ленина в 1924 году они боролись против партии.

Особенно обострили борьбу в 1927 году.



В 1927 году мы произвели референдум среди членов партии. За платформу ЦК ВКП(б) высказалось 800 тысяч членов партии, за платформу Троцкого – 17 тысяч<sup>37</sup>.

Эти люди углубили борьбу, создали свою партию. В 1927 г. они устраивали демонстрации против советской власти, ушли в эмиграцию, в подполье. Осталось у них тысяч 8 или 10 человек.

Они скатывались со ступеньки на ступеньку. Некоторые люди не верят, что Троцкий и Зиновьев сотрудничали с агентами гестапо. А их сторонников арестовывают вместе с агентами гестапо. Это факт. Вы услышите, что Троцкий заключил союз с Гессом<sup>38</sup>, чтобы взрывать мосты и поезда и т. д., когда Гитлер пойдет на нас войной. Ибо Троцкий не может вернуться без поражения СССР на войне.

Почему они признаются в своих преступлениях? Потому что изверились в правоте своей позиции, видят успехи всюду и везде. Хотят хотя бы перед смертью или приговором сказать народу правду. Хотя одно доброе дело сделать – помочь народу узнать правду. Эти люди свои старые убеждения бросили. У них есть новые убеждения. Они считают, что построить в нашей стране социализм нельзя. Это дело гиблое.

Они считают, что вся Европа будет охвачена фашизмом, и мы, советские люди, погибнем. Чтобы сторонники Троцкого не погибли вместе с нами, они должны заключить соглашение с наиболее сильными фашистскими государствами, чтобы спасти свои кадры и ту власть, которую они получают при согласии фашистских государств. Я передаю то, что Радек и Пятаков сейчас говорят прямо. Наиболее сильными фашистскими государствами они считали Германию и Японию. Они вели переговоры с Гессом в Берлине и с японским представителем в Берлине. Пришли к выводу, что власть, которую они получают в результате поражения СССР в войне, должна сделать уступки капитализму: Германии уступить территорию Украины или ее часть, Японии – Дальний Восток или его часть, открыть широкий доступ немецкому капиталу в европейскую часть СССР, японскому – в азиатскую часть, предоставить концессии; распустить большую часть колхозов и дать выход “частной инициативе”, как они выражаются; сократить сферу охвата государством промышленности. Часть ее отдать концессионерам. Вот условия соглашения, так они рассказывают. Такой отход от социализма они “оправдывают” указанием, что фашизм, мол, все равно победит, и эти “уступки” должны сохранить максимальное, что может остаться. Этой “концепцией” они стараются оправдать свою деятельность. Идиотская концепция. Их “концепция” навеяна паникой перед фашизмом.

Теперь, когда они все продумали, они считают все это неправильным и хотят перед приговором все рассказать, раскрыть.

**Фейхтвангер.** Если у них такие идиотские концепции, не считаете ли вы, что их надо скорее посадить в сумасшедший дом, чем на скамью подсудимых?

**Сталин.** Нет. Есть немало людей, говорящих, что фашизм все захватит. Надо пойти против этих людей. Они всегда были паникерами. Они пугались всего, когда мы брали власть в Октябре, во время Бреста, когда мы проводили коллективизацию. Теперь испугались фашизма.

Фашизм – это чепуха, это временное явление. Они в панике и потому создают такие “концепции”. Они за поражение СССР в войне против Гитлера и японцев. Именно поэтому как сторонники поражения СССР они заслужили внимание гитлеровцев и японцев, которым они посылают информацию о каждом взрыве, о каждом вредительском акте.

**Фейхтвангер.** Возвращаясь к старому процессу, хочу сказать, что некоторых удивляет, почему не 1, 2, 3, 4 подсудимых, а все признали свою вину.

**Сталин.** Как это бывает конкретно? Зиновьева обвиняют. Он отрицает. Ему дают очные ставки с пойманными и уличенными его последователями. Один, другой, третий уличают его. Тогда он, наконец, вынужден признаться, будучи избит на очных ставках своими сторонниками.

**Фейхтвангер.** Я сам уверен в том, что они действительно хотели совершить государственный переворот. Но здесь доказывается слишком многое. Не было бы убедительнее, если бы доказывалось меньше?

**Сталин.** Это не совсем обычные преступники. У них осталось кое-что от совести. Вот возьмите Радека. Мы ему верили<sup>39</sup>. Его оговорили давно Зиновьев и Каменев. Но мы его не трогали. У нас не было других показаний, а в отношении Каменева и Зиновьева можно было думать, что они нарочно

оговаривают людей. Однако через некоторое время новые люди, два десятка низовых людей, частью арестованные, частью сами давшие показания, выяснили картину виновности Радека. Его пришлось арестовать. Сначала он упорно все отрицал, написал несколько писем, утверждая, что он чист. Месяц назад он написал длинное письмо, опять доказывая свою невиновность. Но это письмо, очевидно, ему самому показалось неубедительным, и через день он признался в своих преступлениях и изложил многое из того, чего мы не знали. Когда спрашиваешь, почему они сознаются, то общий ответ: “Надоело это все, не осталось веры в правоту своего дела, невозможно идти против народа — этого океана. Хотим перед смертью помочь узнать правду, чтобы мы не были такими окаянными, такими иудами”.

Это не обычные преступники, не воры, у них осталось кое-что от совести. Ведь Иуда, совершив предательство, потом повесился.

**Фейхтвангер.** Об Иуде — это легенда.

**Сталин.** Это не простая легенда. В эту легенду еврейский народ вложил свою великую народную мудрость<sup>40</sup>.

#### Судьба текста беседы с Фейхтвангером

*В сообщении ТАСС, опубликованном в “Правде” 9 января 1937 года, указывалось, что беседа Сталина с Фейхтвангером продлилась три часа. Из пометки заведующего Отделом печати ЦК ВКП(б) Бориса Таля известно, что Сталин спросил: “Не хотите ли вы сняться с Фейхтвангером”. Благодаря этому предложению большую фотографию Сталина, Фейхтвангера и Таля также поместили в “Правду”. Таль участвовал в беседе вождя в качестве переводчика, референта, стенографа — в той роли, которую летом 1934 года во время встречи Сталина с Гербертом Уэллсом сыграл пресс-секретарь НКВД Константин Уманский, а в 1935 году на беседе с Роменом Ролланом — директор Всесоюзного общества культурных связей с заграницей Александр Аросев.*

*9 января 1937 года Таль послал Сталину набросок записи беседы с Фейхтвангером. Записи представляют собой правленную скоропись вопросов немецкого писателя и ответов Сталина. Помимо этой и чистовой машинописи, на которых не обнаружено следов правки Сталина, сохранилась еще и вторая запись беседы: нерасшифрованная и на больших листах. В начале рукописи зафиксирована реплика Сталина: “2 часа. Если с перевод[ом], не так много”. По-видимому, эта запись — синхронная самой беседе, поскольку тезисная форма передачи вопросов Фейхтвангера записана на немецком языке. Но так как следов сталинской правки не обнаружено и здесь, вероятнее всего, беседу не готовили для печати и предвзвешенной рассылки членам Политбюро (как в случае с беседой Людвига, Уэллса и Роллана).*

*Почему в случае с Фейхтвангером беседа Сталина не будет обнародована? Она начала устаревать уже в момент своего фиксирования на бумаге. Коррективы в ее текст и в контекст, в судьбы двух главных действующих лиц театрализованного действия и самого Таля начала вносить трагическая летопись тридцатых годов. Бурные события большой чистки требовали многих, постоянных, кардинальных и противоречивых изменений в издательской деятельности Политбюро, вообще, и в работе по популяризации трудов и заявлений Сталина, в частности.*

*С вероятного разрешения Сталина Фейхтвангер в своей книге “Москва 1937” (изданной в Амстердаме в том же издательстве “Керидо”, что и книга Людвига Маркузе о иезуите Лойоле) передаст сталинские мысли своими собственными словами как авторский текст. Эта вольность станет исключительным событием в безбрежном океане сталинианы...*

#### Примечания к беседе И. Сталина с Фейхтвангером

<sup>1</sup> В “Докладе о проекте Конституции Союза ССР” Сталин так расшифровал свое понимание интеллигенции: “инженерно-технические работники”, “работники культурного фронта” и “служащие вообще”. Говоря о классах в советском обществе, Сталин сказал:

“Остался рабочий класс. Остался класс крестьян. Осталась интеллигенция” (“Правда”. 1936. 26 ноября). В выступлении на пленуме ЦК ВКП(б) 12 октября 1937 года Сталин дал четкое указание по предстоящим выборам в Верховный Совет СССР: “Нельзя переполнять Верховный Совет трактористами, трактористками, комбайнерами и теребильщиками и забывать, что у нас есть интеллигенция партийная, есть искушенные политики не только в Москве, но и в областях” (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 1120. Л. 89). В октябре 1938 года при редактировании лозунгов к очередной годовщине Октябрьской революции в лозунге № 39 предлагалось прославление-здравица: “Советская интеллигенция – это новая интеллигенция, подобной которой не знала еще история человечества!” Сталин снизил степень следовавшей за этим экзальтации: “Да здравствует наша советская, народная интеллигенция!” Из предлагавшегося варианта лозунга: “Больше внимания политическому воспитанию и большевистской закалке советской интеллигенции!” Сталин зачеркнул важное уточнение: “интеллигенции – кадров нашего государственного аппарата” (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Ед. хр. 1203. Л. 89).

2 “Соль земли” – слова Чернышевского из романа “Что делать?”. Сталин имеет в виду народнические группы. К середине 30-х годов Сталин стал резко отрицательно относиться к деятельности народовольцев, видя в их террористической деятельности, в акте царубийства недопустимые ассоциации с убийством Кирова, обвинение в котором было предъявлено многим бывшим руководителям большевистской партии на московских показательных процессах.

3 Сталин имеет в виду социалистическую партию “Земля и воля”, основанную в 1876 году. В программу этой организации входила национализация земли, отмена налогов и свободная община. Аграрный вопрос выдвигался как основной. Раскол в “Земле и воле” привел к созданию двух партий: “Народной воли” и “Черного передела”.

4 Энгельс говорил об упадке сен-симонизма (1843): “Сен-симонизм <...> который, точно сверкающий метеор, приковал к себе внимание мыслящих людей, исчез затем с социального горизонта... Его время миновало” (цит. по: История философии в 4-х томах, т. II. М.: Изд. Академии наук СССР, 1957. С. 170). Маркс и Энгельс отмечали в Вильгельме Вейтлинге его склонность быть пророком, который носит в кармане “готовый рецепт осуществления царства небесного на земле” (Там же. С. 187).

5 Имеются в виду религиозные войны во Франции (1562–1594) между католиками и гугенотами, Тридцатилетняя война в Германии (1618–1648) между поддержанными папой князьями и антигабсбургской коалицией протестантских князей.

6 За девять месяцев до этого Политбюро с санкции Сталина запретило постановку на сцене МХАТа пьесы “Мольер” Михаила Булгакова.

7 Зачеркнуто: “Как мне кажется, раньше было больше литературных произведений, критиковавших те или иные стороны советской жизни”.

8 Возможно, Сталин имеет в виду Павла Васильева (1910–1937) и ряд русофильских поэтов и писателей: Николая Клюева (1884–1937), Петра Орешина (1887–1938) и Сергея Клычкова (1889–1940). В данном случае, перед лицом немецкого писателя-антифашиста, Сталин намекает на то, что для его режима приоритетна борьба за “равноправие” наций, то есть против русского великодержавного шовинизма, и сама критика этой борьбы недопустима.

9 Сталин постоянно классифицирует и группирует. В начале беседы он говорит о трех группах писателей вообще: писатели “за” (подразумевается, что за советскую власть), писатели “против” и “воздержавшиеся”. Здесь же он рассуждает о существовании двух групп оппозиционных писателей: русских (подразумевается) националистах и тех, кто не хочет вести борьбу против “фашистских элементов”. Возможно, что в последней группе зашифровывается часть бывших руководителей РАПП, которые группировались вокруг спецпайков, квартир и мебели из распределителей ОГПУ – НКВД смещенного наркома внутренних дел Генриха Ягоды. Под “фашизмом” в данном случае подразумевается “троцкизм”. Именно обвинения в фашизме предъявят перед расстрелом Владимиру Киршону (1902–1938), Леопольду Авербаху (1903–1938) и другим руководителям бывшей РАПП.

10 Эту мысль почти дословно Сталин высказал в августе 1934 года во время беседы с Гербертом Уэллсом: “Это называется у нас, большевиков, “самокритикой”. Она широко применяется в СССР”.

<sup>11</sup> “Мы диалектику учили не по Гегелю”, – сказал Маяковский. Сталин учил Гегеля по Плеханову. В 1937–1938 годах в ходе работы над главой о диалектическом и историческом материализме для “Краткого курса истории ВКП(б)” Сталин прочитает (или перечитает) том Плеханова “К вопросу о развитии монистического взгляда на историю”. Сталин отметит следующие слова: “Сова Минервы начинает летать только ночью. Когда философия начинает выводить свои серые узоры на сером фоне, когда люди начинают вдумываться в свой собственный общественный строй, вы можете с уверенностью сказать, что этот строй отжил свое время и готовится уступить место новому порядку, истинный характер которого опять станет ясен людям лишь после того, как сыграет свою историческую роль: сова Минервы опять вылетит только ночью. Нечего и говорить, что периодические воздушные путешествия мудрой птицы очень полезны: они даже совершенно необходимы” (выделенное курсивом подчеркнуто Сталиным) (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 3. Ед. хр. 251. 1938. М.: Государственное политическое издательство. С. 67. Пометки простым карандашом).

<sup>12</sup> Сталин имеет в виду “Выбранные” места из переписки с друзьями”.

<sup>13</sup> Фейхтвангер прибыл в Москву 1 декабря 1936 года. “Правда” приветствовала приезд “германского антифашистского писателя” статьей Е. Книпович “Творчество Лиона Фейхтвангера”.

<sup>14</sup> В сталинском архиве сохранились документы середины 30-х годов, которые одновременно подтверждают и опровергают этот тезис. В 1937 году вождь действительно запретил публикацию нескольких приветствий: работников ИЗОГИЗа, коллектива МХАТа и Краснознаменного ансамбля Красной Армии во время гастролей на Парижской выставке. В то же время десятки приветствий и рапортов были опубликованы. Например, 10 ноября 1937 года, в разгар “предвыборного” ажиотажа, Мехлис сообщает Сталину: “В “Правде” имеется огромное количество резолюций собраний рабочих, колхозников, служащих о выдвижении кандидатами в Верховный Совет членов Политбюро. Мы не использовали и половины поступивших материалов. В связи с опубликованным сегодня письмом прошу указаний – можно ли продолжать печатание списков. Л. Мехлис”. Речь идет о письме членов Политбюро с согласием баллотироваться в определенных избирательных округах. Сталин подчеркнул слова “продолжать печатание списков” и написал: “Нужно продолжать печатание. Ст. “Поток экзальтированных резолюций продолжился” (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 203. Л. 157; подлинник на бланке “Правды”. Автографы Мехлиса и Сталина).

<sup>15</sup> Бабувисты – последователи Гракха Бабефа (1760–1797), французского коммуниста-утописта. Гебертисты – в эпоху Французской революции группа единомышленников Жака Рене Гебера (1757–1794), одного из решительных сторонников террора, который вел борьбу с христианством за культ Разума. По настоянию Робеспьера он был казнен.

<sup>16</sup> 19 декабря 1934 года по заявлению Сталина Политбюро принимает решение: “Уважить просьбу т. Сталина о том, чтобы 21 декабря в день пятидесятипятого юбилея его рождения никаких празднеств или торжеств, или выступлений в печати, или на собраниях не было допущено” (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Ед. хр. 1048. Л. 26). Выписки были посланы в Тифлис, в Киев, в газеты “Правда” и “Известия”, в Ташкент, редакторам газет: “Заря Востока” – Григорьян, “Коммунист” – Попов, “Правда Востока”, “Ленинградская правда” и т. д. Сталин по этому вопросу не голосовал. Решение, напечатанное на гектографе в тетрадях протоколов заседаний Политбюро, становилось достоянием местной политической элиты. Данный номенклатурный маневр неофициально мог быть связан с убийством Сергея Кирова в Ленинграде 1 декабря. После похорон Кирова немедленно началась кампания многочасовых партийных активов, которые стали подготовкой к первому этапу массовой чистки. В подобной исторической конъюнктуре празднование 55-летия вождя виделось неуместным.

<sup>17</sup> В конспективной записи зав. Отделом печати и издательств ЦК Б. Таля (который выступил на беседе переводчиком, стенографистом, а затем и редактором текста) эта идея передана следующим образом: “Пытался несколько раз, ничего не выходит. Говоришь: нехорошо, неприлично, из скромности 55-летие праздновать, решение воспретить, жалобы мешают праздновать победу, дело не во мне. Что я ломаюсь. Должно быть приятно, но я ломаюсь”.

<sup>18</sup> ТАСС в своем сообщении “Школьные новостройки 1937 года” информировало, что к 7 ноября 1936 года в городах и рабочих поселках были готовы 1025 новых школ. Заканчивались еще 52 постройки. В 1937-м в Москве собирались дополнительно постро-

ить 80 новых школьных зданий (“Правда”. 1936. 15 ноября). Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) на своем заседании 19–21 мая 1936 года также рассматривала ход выполнения постановления ЦК и СНК о новых школьных зданиях. Докладывал ревизор области культуры в этом высшем органе партийной полиции А. П. Шохин. В отличие от восторженного сообщения ТАСС, ход строительства был признан неудовлетворительным. Как горсоветы, так и наркоматы отставали от графиков. Строилось 860 школ вместо 912. В Ленинграде из 100 школ не приступили к строительству 26 (РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 4. Ед. хр. 63. Л. 1. Протокол № 37 17 мая 1936 года).

<sup>19</sup> В конспективной записи Тяля этот фрагмент выглядит так: “А то, что за границей не довольны, что делать? Нельзя сразу сделать людей культурными. 3000 школ. 1000 школ. В одной Москве 250 школ. Ленинград 150 школ. Стараемся поднять культурность. 5–6 лет. Культурный подъем медленно. Бурно и некрасиво”.

<sup>20</sup> См.: «Выставка “Архитектура СССР”», заметка профессора Д. Аркина (“Правда”. 1936. 16 декабря).

<sup>21</sup> Выставка была организована Союзом советских архитекторов и открылась в Московском государственном музее изобразительных искусств 11 ноября 1936 года. На выставке были собраны все работы Рембрандта, имеющиеся в Советском Союзе. На ней были представлены 23 картины из Эрмитажа, 6 картин из Музея изобразительных искусств в Москве. На открытии выступил председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР Платон Керженцев, который сказал: “Рембрандту <...> было тесно в рамках буржуазной Голландии, которая его не признавала” (“Правда”. 1936. 12 ноября).

<sup>22</sup> В записи Тяля вопрос писателя зафиксирован следующим образом: “строит. выст. Рембр. выст. Keine Stalin-Buste”.

<sup>23</sup> В качестве конкретной иллюстрации передачи беседы Сталина в косвенной форме в книге Фейхтвангера стоит вспомнить фрагмент из “Москвы 1937” “Сто тысяч портретов человека с усами”...

<sup>24</sup> При подготовке новой программы ВКП(б) в конце 30-х – первой половине 40-х годов Сталин составил заметки “О буржуазной демократии”, в которых, в частности, запечатлел такую мысль: “2) Буржуазная демократия обанкротилась, она превратилась в политику (зачеркнуто: систематического) демократич[еского] обмана народа: обманывают во всем, по всем вопросам врут: и внешней политики, обманывают насчет мира, обманывают насчет войны, обманывают на выборах, обманывают после выборов, обманывают народ во всем” (заметки Сталина “К программе ВКП(б)”. РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 11. Ед. хр. 122. Лл. 42–43).

<sup>25</sup> Тезис VII конгресса Коминтерна (август 1935 года). О том, что “вопрос о создании правительства единого фронта станет в порядок дня как непосредственная практическая задача”, что вопрос этот “сделается решающим, пробным камнем для политики социал-демократии данной страны”, заявил на конгрессе Георгий Димитров (см. его доклад “За единство рабочего класса, против фашизма” в кн.: VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. Сборник документов. М.: Изд. политической литературы, 1975. С. 204).

<sup>26</sup> Правительство Народного фронта в Испании пришло к власти в результате победы на выборах в кортесы 16 февраля 1936 года коалиции коммунистов, социалистов, профсоюзов и левых республиканцев.

<sup>27</sup> Марсель Кашен (1869–1958) – член Политбюро ЦК Французской компартии, член Президиума Исполкома Коминтерна. Сыграл значительную роль в организации движения Народного фронта во Франции. Эрнст Тельман (1886–1944) – председатель ЦК компартии Германии, член Президиума Исполкома Коминтерна; 3 марта 1933 года был арестован гестаповцами и погиб в концлагере Бухенвальд.

<sup>28</sup> Отчет о процессе публиковался в “Правде”, а затем, по решению Политбюро, принятому еще до судебного фарса, вышел отдельной книгой. Сталин редактировал некоторые материалы этого процесса. См.: Процесс антисоветского троцкистского центра (23–30 января 1937 года). Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра <...> по обвинению Пятакова Ю. Л., Радека К. Б., Сокольников Г. Я. <...> и др... М.: Верховный суд СССР. 1937.

<sup>29</sup> С августа 1936-го до конца года Сталин радикально изменил свое отношение к драматургии процесса. В августовские дни Ежов в черновике своего программного письма

к вождю утверждал: “Стрелять придется довольно внушительное количество. Лично я думаю, что на это надо пойти и раз навсегда покончить с этой мразью”. В то же время он пояснял: “Понятно, что никаких процессов устраивать не надо <...> Очень туго подвигается исполнение вашей директивы по прощупыванию военной линии троцкистов”. В ЧК в 1933-м и 1934 годах “были также сигналы и о существовании блока. Все это, однако, прошло безнаказанно <...> очень хочу вас подробно проинформировать о внутренних делах в ЧК <...> Сейчас, мне кажется, нужно приступить и к кое-каким выводам из всего этого дела для перестройки работы самого Наркомвнудела <...> В среде руководящей верхушки чекистов все больше и больше зреют настроения самодовольства, успокоенности и бахвальства <...> люди мечтают теперь только об орденах за раскрытое дело <...> Трудно даже поверить, что люди не поняли, что в конечном счете это не заслуги ЧК, что через пять лет после организации крупного заговора, о котором знали сотни людей, ЧК докопалось до истины” (РГАСПИ. Ф. 671. Оп. 1. Д. 52. Л. 188). Однако, став Наркомом внутренних дел, Ежов по заданию Сталина приступит к подготовке нового, январского (1937 года) процесса.

30 Крушения на советских железных дорогах происходили постоянно. Воинский эшелон на станции Шумиха потерпел крушение 27 октября 1935 года. Во время катастрофы погибли 29 красноармейцев и столько же были ранены. Этот эпизод будет фигурировать на январском (1937 г.) процессе в Москве: “... обвиняемый Князев по указанию руководителя диверсионно-вредительской работы на железнодорожном транспорте Лифшица и по прямому заданию агента японской разведки г-на Х...” и так далее. Например, 26 октября 1935 года Политбюро рассмотрело вопрос “О крушении поезда на станции Шимановская”.

Решено: “а) Привлечь к судебной ответственности по делу о крушении на станции Шимановская, наряду с другими виновниками, начальника второго железнодорожного отделения Кирьянова. б) Исключить из партии и привлечь к судебной ответственности парторга куста Шимановская – Бобрик. в) В отношении непосредственного виновника крушения машиниста Ребеко признать необходимым применение высшей меры наказания”. Менее чем через десять дней, 5 ноября, – новое решение Политбюро “О крушении поезда на ст. Стальной Конь Московско-Курской ж. д.”: “Утвердить приговор выездной сессии линейного суда Московско-Курской железной дороги о расстреле машиниста Ноздрина, главного виновника крушения поезда 6 октября на станции Стальной Конь” (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 18. Лл. 182, 185)...

31 В двух черновых конспективных записях данные о количестве погибших в железнодорожной катастрофе красноармейцев разнятся: “Убито при крушении 35 красноармейцев”; “убито 25–30”. В окончательном варианте стало: “десятки” (Там же. Л. 50).

32 М. С. Богуславский, Л. Н. Дробнис и И. А. Князев – фигуранты московского январского процесса “антисоветского троцкистского центра”.

33 Процесс Пятакова и др. начнется 23 января 1937 года. В черновике письма Сталину, помеченного 11 августа 1936 года, Ежов докладывал, что вызывал Пятакова и сообщил ему мотивы, по которым отменено решение ЦК о назначении его обвинителем на августовском процессе... Согласно Ежову, Пятаков “виновным себя считает в том, что не обратил внимания на контрреволюционную работу своей бывшей жены и безразлично относился к встречам с ее знакомыми”. Ежов добавил, что Пятаков “просит лично расстрелять приговоренных к расстрелу, в том числе и бывшую жену”. Вместо этого отдали под суд самого Пятакова, и в числе других он был расстрелян (РГАСПИ. Ф. 671. Оп. 1. Д. 52. Лл. 174–175).

34 В черновой записи последняя реплика Сталина выглядит несколько иначе: “Товарищ Фейхтвангер сможет много интересного узнать, если он сможет присутствовать на этом процессе” (Там же. Л. 53). Здесь характерно употребление слова “товарищ” по отношению к некоммунистическому писателю, который в самых благоприятных для советской действительности обстоятельствах мог считаться лишь попутчиком. 22 января 1937 года Политбюро примет решение: “14. Не возражать против присутствия на процессе иностранных писателей Фейхтвангера и Андерсена-Нексе” (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 20. Л. 166).

35 Пьеса “Калькутта, 4-е мая” была издана массовым тиражом в СССР в 1936 году в Журнально-газетном объединении (руководителем Объединения был Михаил Кольцов).

36 В заключительном слове по Отчету ЦК на X съезде РКП(б) Ленин говорил: “Не надо теперь оппозиции, товарищи, не то время! Либо тут, либо там, с винтовкой, а не с

оппозицией. Это вытекает из объективного положения, не пеняйте” (Ленин о партийном строительстве. М.: Госполитиздат, 1956. С. 610–611).

<sup>37</sup> В дни накануне XV съезда партии Сталин следил за ходом внутрипартийного голосования. 31 октября 1927 года в 22 часа 30 мин (расшифровано 1 ноября в 9 часов утра) секретарь Ленинградского комитета партии Н. К. Антипов (1894–1938) направил шифровку в Москву на имя Сталина: “Сообщение о выводе из Цека Троцкого и Зиновьева было сделано 24 октября на нескольких крупных рабочих коллективах, в том числе на Треугольнике и Красном Выборжце, первом из них из 2000 человек против решений ЦК голосовало 22 и трое воздержалось. Во втором семь против”. С целью перепроверить эту информацию Сталин немедленно направляет запрос Кирову (начальнику Антипова в Ленинграде): “Ты сообщил мне ночью, что на Треугольнике было 1500, из коих за оппозицию голосовало 24. Я так и передал в “Правду”. А сегодня Антипов сообщает, что на Треугольнике было 2000, из них 22 голосовало за оппозицию. Кому верить. Сталин” (№ 5123/ш. 1 ноября. 17 час 10 мин) (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 63. Л. 29).

<sup>38</sup> Рудольф Гесс (1894–1987) – личный секретарь Гитлера, с 1933 года – его заместитель по нацистской партии.

<sup>39</sup> В апреле 1935 года Бухарин сообщал Сталину: “Радек болен и нервно истощен: он опухает, его вдруг одолевает сонливость, покрывается симметрической нервной сыпью”. Просит отпустить на шесть недель на юг Франции. Во Францию Радека не отпустили, а Сталин переслал это письмо “на контроль” (как тогда говорили) Николаю Ежову (РГАСПИ. Ф. 671. Оп. 1. Д. 52. Л. 28).

<sup>40</sup> Машинописный экземпляр. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 820. Лл. 3–22. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 820. Л. 3–22. Машинописный текст.

*Послесловие и примечания даются по изданию:  
“Вопросы литературы”, 2004, № 2*